

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 11

1986



Святослав РЫБАС

СПАСЕНИЕ

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 11

Святослав РЫБАС

СПАСЕНИЕ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Святослав РЫБАС

Святослав Юрьевич Рыбас родился в 1946 году в г. Макеевка Донецкой области. Окончил горный техникум. Работал на шахте, в научно-исследовательских институтах, в редакциях газет и журналов. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького.

Автор книг «Молодые люди», «Варианты Морозова», «Стеклянная стена», «Что вы скажете на прощанье», «Зеркало для героя», «На колесах» (за эту книгу С. Рыбасу присвоено звание лауреата премии имени Николая Островского).

Член СП СССР. Живет и работает в Москве.

СЛЕД

Давным-давно мама разбудила меня: «Смотри, Виташа! Белый всадник на снежном коне скачет!» Я подбежал к окну: вчера земля лежала черная и слякотная, а увидел я блестящий на солнце снег. Но где оно теперь, счастливое бодрое утро?

Меня мобилизовали в 19-м году деникинцы. Я еще не успел закончить гимназии.

...Мой отец Иван Григорьевич был штейгером на руднике. А дед пришел на шахтерский промысел из Орловской губернии, сколотил артель углекопов, потом самоучкой сделался механиком. Я его почти не запомнил. Белая борода и белые глаза. Конечно, глаза были просто выцветшие. Однажды дед выпорол меня, трехлетнего, тонким кавказским ремешком. За что? Я шумно играл, а он дремал после обеда...

Мой отец закончил Лисичанскую штейгерскую школу. Там, в Лисичьем овраге, петровский дьяк Григорий Капустин открыл донецкий уголь. Я всю жизнь связан с горным делом, шахтами, с тем, что в частушке определено так: «Шахтер рубит со свечами, носит смерть он за плечами». Отец ездил на пролетке, у него был револьвер. С шести лет меня отдали учиться, отвезли в дом директора частной гимназии Миронова, который держал для иногородних детей пансион. Вместе со мной жили сыновья инженеров и техников. Их отцы служили на окрестных шахтах, в большинстве принадлежавших русско-бельгийскому акционерному обществу.

У отца на шахте произошла забастовка. Человек сто собрались возле конторы и требовали повысить зарплату. Отец приказал остановить подъемную машину, чтобы подземная смена не смогла подняться на-гора раньше времени. Он ходил среди шахтеров, уговаривал разойтись. Его не трогали, потому что он был очень горячий, в прошлом у шахтеров с ним были стычки, в которых он показал смелость. Но шахтеры — отчаянные люди, а в России может случиться все. Толпа направилась к металлургическому заводу, увлекая и отца. Навстречу ей выехали конные англичане, вооруженные железными прутьями с железными шарами на концах. Они

рассеяли шахтеров и гнались за ними по степи. Поймали, заперли в сарае человек тридцать. В схватке были раненые. Отец стрелял в англичанина, который замахнулся на него, и, кажется, контузил Джека. Потом к нам приехал уездный исправник, и они с отцом ругали бесстыжих Джеков и их консула в Бердянске, пославшего жалобу на избитых шахтеров.

Отец рано умер. Директор гимназии вызвал меня и сказал, что мне надо ехать домой, но не сказал зачем. На вокзале я купил чугунную статуэтку Ермака в кольчуге и шлеме. В подарок. Но отец уже лежал на столе в гробу.

Сколько раз после смерти отца снег укрывал землю, и скольких людей приняла земля? А я все живу, хожу в институт, читаю студентам свой курс. Я доктор технических наук, профессор, еще работаю консультантом на кафедре. Я живое ископаемое.

Примерно неделю назад кто-то позвонил к нам в дверь. На пороге стояла полная молодая женщина и быстро-быстро объясняла, что она наша соседка с девятого этажа, что забыла кошелек и ей срочно нужно десять рублей. Вышла моя внучка Люба, и женщина обратилась к ней: «Оля, дай десятку, после обеда верну». Я сказал, что это не Оля, а Люба. Тогда женщина поправилась. Мы с внучкой смотрели друг на друга, понимали, что нас хотят обмануть. Но Люба все-таки дала деньги. Когда женщина ушла, я предположил, что она больше не придет. Ко мне вернулась способность логически рассуждать: ведь странно, что, забыв дома кошелек, человек не идет за ним домой. Люба согласилась со мной. Однако легче было отдать десятку, чем испытывать неловкость из-за своей подозрительности. Вот какое я ископаемое.

Когда у меня нет лекций, я уезжаю за город. Этот город тоже вырос на моей памяти из заводских и рудничных поселков. Один из них назывался Лукьяновка, там были мастерские моего деда Григория Лукьянова. Он смог выкарабкаться из землянки в каменный дом. Как я понимаю, он шел по чужим головам. Я этого не умею, но не берусь его осуждать. Многие смерти витали над ним. Я их даже вижу: внезапный обрыв подъемного каната, обломка воротов, испуг лошади, поднимающей человека, взрыв гремучего газа, обвал, пожар... Его страница в книге судеб перевернута, накрыта тяжестью других страниц. В бытовой речи горожан еще можно услышать «Лукьяновка», но память о том Лукьянове исчезла...

Раньше у меня были аспиранты, дружили со мной. Только один из них до сих пор присылает к праздникам открытки. Нечего сетовать, требовать, чтобы все помнили про меня. Я заурядный профессор. Единственное, что после меня останется, — это электрический двигатель, отличающийся от других несколько более высоким КПД. Учеников нет, школы не создал, жил замкнуто, сторонясь знакомых.

В мае того года, когда все в моей жизни перевернулось, я был

гимназистом седьмого класса. И красный бант у меня был, и я надеялся на что-то грозно-прекрасное, чему я поклонялся. Мой отчим Федор Гаврилович Кузнецов принадлежал к рабочей социал-демократической партии. Но поселок заняли отряды генерала Май-Маевского, объявили мобилизацию, и в числе студентов, окончивших курс гимназистов, реалистов, выпускников коммерческих училищ, учительских институтов, духовных семинарий, торговых школ, консерваторий Русского музыкального общества, — среди тысяч недоучившихся юнцов, пополнивших ряды контрреволюционных армий Юга России, оказался и я. Можно ли было мне уклониться от мобилизации? Этот вопрос в разных вариациях я часто задавал себе. Все-таки можно было. Я струсил.

Мы с внучкой Любой и правнуком Виташей возвращались на электричке домой. Мальчик сидел между нами. Люба читала книгу; у нее в сумке всегда какая-нибудь книжка.

Я показывал за окно и говорил:

— В прошлый раз было уже темно, а сейчас еще светло. День быстро растет.

Виташа откликается на любые разговоры о природе, потому что она изменяется заметнее, чем вся остальная жизнь.

Он дернул Любу за рукав, чтобы и она поглядела на выросший день, но она лишь улыбнулась углами губ и продолжала читать.

В наш вагон подсели два шумных молодых человека, у них были хмельные глаза. Они прошли мимо нас, посмотрели на Любу. Потом оглянулись и снова посмотрели.

— Люба, а наш парень растет, — сказал я Любе.

— Что? — спросила она.

Но пьяные отошли — видно, поняли, что она не одна, и я успокоился. В сущности, мы беззащитны. Я старик, она женщина, а Виташа ребенок. «Старики, женщины и дети», — когда я слышу эти слова по телевизору или читаю в газете, то думаю о нас, хотя не нас обстреливают, бомбят, выгоняют из дома. Воюют где-то далеко.

Жалко Любу и Виташу, когда они останутся без меня. Она еще молодая, но мужа вряд ли уже найдет. Она не знакомит меня со своим любовником: то ли предполагает, что я потребую, чтобы он немедленно женился на ней, то ли оберегает мой покой.

Впрочем, пьяные вернулись. Один из них без позволения взял из Любиных рук книгу, полистал и стал спрашивать наглым тоном. Я попытался его урезонить, но он не поглядел на меня. Люба громко и решительно потребовала вернуть книгу. Он нарочито покачнулся и оперся на ее плечо. Я встал, крикнул:

— Немедленно оставьте нас!

— Заглохни, старик, — усмехнулся он.

Люба тоже встала. Послышались сдержанно-возмущенные голоса

наших попутчиков. Пьяный парень вдруг охнул и упал на пол. Она постояла над ним полминуты, он не шевелился. Тогда она сказала второму:

— Скоты!

Тот угрожающе двинулся к ней, но поднялся такой шум, что он стусевался и утащил беспамятного дружка в тамбур.

Тут я понял, что моя внучка повергла хулигана. По-видимому, она ударила его коленом в пах. Она защищалась в одиночку, зная, что вряд ли кто поможет ей. Мне стало жалко ее. Как можно довести женщину до такого состояния?

— Надо было бы сперва убедить его словом, — посоветовал я.

Зато Виташа простодушно восхитился своей жестокой матерью.

Потом она объяснила мне, что брала уроки по самозащите, что знает несколько сильнодействующих приемов, один из которых я наблюдал. Люба была напряжена и своим резким тоном как будто обвиняла меня. Думаю, она понимала, что не ее дело — бить людей. Однако боюсь, что другого выхода у нее не было.

Строили наши дачи артельно, дружно. Земля была болотистая, рядом лесок, высоковольтная линия, поля. Сперва приезжали навьюченные рюкзаками, весело шагали от шоссе к участку и часто пели. Каждый на своем клочке в шесть соток сооружал временку-сарай, еще не существовало никаких заборов, а в обед собирались на большой поляне. Женщины варили в огромном котле борщ, мужчины обеспечивали костер дровами, дети... им было лучше всех. Тогда и Люба была ребенком. Где ты теперь, худенький заморышек?

А где моя жена Вера? И сын Николай? Унесли вы с собой всего меня, да Виташа потом вернул.

По дачной улице вдоль канавы бежим мы с Виташей за низко стелющейся крушинницей. Она порхает желтыми крылышками, то поднимается на высоту забора, то снижается к стрельчатым подорожникам. Потом Люба ворчит, чтобы он выбросил полузадохшуюся бабочку, зажатую в его кулачке.

Однажды я перебирал старые бумаги и нашел свидетельство о моем крещении. Бумага во время последней войны несколько месяцев пролежала в земле, куда Вера спрятала все документы, и покрыта желтоватых разводами. Из нее следует: «По указу Его Императорского Величества Донская духовная консистория вследствие прошения крестьянки Анны Кузнецовой по первому браку Лукьяновой о выдаче свидетельства о рождении и крещении сына ея Виталия, надлежащей подписью и приложением казенной печати свидетельствует, что в метрической книге Троицкой церкви поселка Лукьяновского Донской епархии за 1899 год в I части о родившихся под № 46-м мужеска пола значится так: рожден перваго, а крещен двадцатого марта

Виталий, родители его: города Таганрога мещанин Иван Григорьев Лукьянов и города Бахмута мещанка Анна Михайлова Лукьянова, восприемники: города Чернигова дворянин Петр Иванов Шахущкий и города Тулы мещанка Антонина Дионисова Гродзенская; крещение совершил священник Андрей Иванов Деревянко...»

Зачем и для кого я храню это свидетельство? В бога я не верю, хотя предполагаю, что душа, возможно, и живет после смерти тела: честно говоря, это обычный стариковский страх. Но как бы там ни было, я тешусь надеждой, что после моей смерти на бумаге останутся имена моей матери, отца и отчима. Поэтому не могу расстаться с этим листком. И с другими пожелтевшими и кое-где размытыми листками.

За свидетельством о рождении следует служебная характеристика от 20 января 1935 года: «Дана Начальнику 1-го района шахты № 8 Хакасского рудоуправления «Кузбассуголь» — тов. Лукьянову В. И. в том, что во время его службы, т. е. с 20 марта 1934 года, он своим умелым руководством и знанием дела вывел первый район из самых отстающих в наилучшие по руднику. При конкурсе шахта № 8 получила областное Красное знамя и от себя передала его лучшему первому району.

Ежемесячно перевыполняя производственные показатели по угледобыче, производительности, снижению себестоимости и зольности угля, тов. Лукьянов В. И. был неоднократно премирован: веломашинной, крепдешинном, пальто, виктролой, ботинками и деньгами в сумме 800 рублей.

Кроме того, как ударник, занесен в альбом и Красную Книгу Героев. Рудком угольщиков премировал тов. Лукьянова В. И. грамотой ударника.

Рудоуправление оценивает тов. Лукьянова В. И. как хорошего администратора-ударника, вполне знающего свое дело».

Когда-нибудь Виташа улыбнется, читая про крепдешин и ботинки для его прадеда. И ничего другого, кроме его улыбки в воспоминаниях обо мне, в этих бумагах давно нет.

Возле того дружного костра у меня была роль, которую я играл с удовольствием. Я рассказывал сказки. С детьми мне интереснее, чем со взрослыми. Когда малыши становились совсем неуправляемыми, я начинал таинственные сказки. Например, такую. Жили в старые времена два друга. Одного звали Ваня, другого Петя. Они крепко дружили и никогда не расставались. Потом они выросли и пообещали друг другу, если кто-то из них умрет раньше, то второй в самый счастливый свой день придет на могилу и расскажет о своем счастье. И вот Петя заболел и умер. Ваня горевал, плакал. Потом Ваня встретил хорошую девушку, полюбил ее и забыл про друга. Он решил жениться. Едет с невестой к себе домой, а по пути — кладбище. И он вспомнил Петю, остановился, велел подождать минутку. А сам пошел к могиле. «Здравствуй, Петя». Петя отвечает ему: «Здравствуй, Ваня.

Ты не забыл меня?» — «Нет, не забыл. Сегодня у меня свадьба». — «Хорошо. Давай выпьем вина. Спускайся ко мне». Ваня спустился. Они выпили вина, и он хочет идти к невесте. «Подожди, Ваня. Давай еще выпьем». И снова выпили. Снова Ваня собирается, а Петя просит последнюю рюмку допить. Допил Ваня и выбрался из-под земли. Видит — кругом распаханное поле. Ни деревьев, ни кустов. Даже тропинки нет. Стал искать невесту. Спрашивает у людей, а они только головами качают, не знают ни про какую невесту. Потом отыскали старого-престарого старика. Он в детстве от своего деда слышал, что в давние времена какой-то молодой парень ехал с невестой мимо кладбища, зашел туда и пропал.

Эту сказку не я придумал. Она народная, как и многие другие, например, про шахтерского черта, старичка Шубина, который под землей сбивает людей с дороги. Но Шубин Шубиным. В нем страх и суеверия обреченных на неизбежную смерть горняков. А что в сказке про Петю и Ваню — не знаю. Покойница Вера не любила, чтобы я рассказывал такое детям. Но им нравилось. И трехлетние дикарята, и первоклассники, и даже некоторые взрослые слушали меня. Наверное, смысл этой сказки в нашей незащитности перед временем?

«Сам ты Шубин!» — сказала Вера. И стал я чертом Шубиным. На дачных участках меня за глаза уже давно так кличут.

Вокруг каждого деревянного домика высокий забор. Дома покрашены в зеленое и голубое. Через канаву наведены мостики для въезда машин во дворы. И весь поселок огорожен забором из железной сетки. Теперь я не всех дачников знаю: умирают одни, а приходят новые, уже не ведающие о прошлых песнях и кострах.

Вот Виташа бежит по нашему огороду между кустами смородины и грядкой земляники. У меня перед глазами мелькает в столбе утреннего света другой русоголовый мальчик, лезет вверх по пологой земляной террасе, на которой разбит аккуратный огород. Наверху у калитки стоит высокий мужчина с закрученными усами. Он в шляпе, длинном сюртуке-рединготе и узком черном галстуке. Мой отец. Мальчику теперь не добраться до него. За огородом — войны, смерти, рождения, годы. А отец все стоит и стоит. Штейгер, сын крепостного крестьянина... Господи, сколько жизней было во мне? И Виташа бежит между смородиной и земляникой.

Кусты посадила Вера. Вот и она, рядом с засохшей яблоней, не выжившей после морозной зимы. Поэтому я не спилил сухое дерево с залохматившейся пыльной корой.

У давешнего мальчика был огород возле штейгерского дома, внизу бурлила речка.

И у нас в конце марта по канаве вдоль улицы журчит большой ручей, порой хлещет через мостики. И тогда заливают дворы и огороды.

Если бы не Виташа, я бы продал дачу.

У меня был друг, мы построились рядом, и до сих пор между нашими домами нет забора. В пятидесятом или пятьдесят первом году у Тимошенко случились крупные неприятности. Он стал готовить к производству новый электродвигатель. Нет, еще не мой, но с более высокими характеристиками, чем прежний. Причем почти вся научно-техническая публика, имевшая хоть малое касательство к электроприводу, возражала против нового двигателя. Сильнее всего сами разработчики старого, а уж от них разошлись широкие круги сомнений. А Тимошенко готовил на своем заводе перемену, которая потом нависла над ним как глыба. Уже не помню, что случилось с первыми образцами, но результаты были неважные. И пошла на Тимошенко цидуля, что, мол, он подрывает экономику и ведет в тупик. По тем временам, когда в городе разобрали еще не все руины и когда военные раны еще дышали под тонкой пленкой жизни, ему грозила беда. Решили составить комиссию. Она должна была неотрывно находиться на испытаниях двигателей в течение месяца. Ни на минуту не отлучаться, наблюдать за напряжением, нагрузкой и т. д. Кому же была охота идти в такую неудобную комиссию? Многие уклонились.

До сих пор вижу три железные кровати, застеленные солдатскими одеялами, стол с контрольным журналом, пепельницей и шахматами, перегородку, за которой работал двигатель...

Испытания прошли удачно. Некоторые влиятельные в то время люди стали на меня коситься, словно я перешел им дорогу.

Когда начиналось строительство садовых домиков, Тимошенко предложил мне быть его соседом. Он был высокий, цыганистого типа, очень шумный. Называл меня другом. Конечно, друзьями мы не были. Редко кто в зрелые годы может похвастаться, что у него есть настоящий друг.

«Что ты за молчун?» — спрашивал Тимошенко. А я молчал. Он рассказывал о своем детстве в шахтерской землянке, о разудалом отце. Однажды Тимошенко сказал: «Ты мог бы быть замечательным человеком». Он вообще смотрел на меня по-особому.

В тридцатые годы один десятник заметил мне: «Виталий Иванович, вот мы оба в чумазах спецовках и под землей, а сдается, будто вы не в шахтерках, а в дорогом костюмчике». Я был с рабочими тверд, даже жесток. И себе спуска не давал. Я не испугался слов десятника, хотя он намекал на лежащую между нами пропасть.

Нынче соседний дом принадлежит дочери Тимошенко и ее мужу. Но они живут в нем редко. На деле там хозяйствуют свекор и свекровь. Они числятся сторожами всего поселка, завели парники, кур и кроликов, привозят навоз и удобряют скудную почву. Времени у них много, они умеют и любят работать.

Виташа бегаёт к ним смотреть на крольчиху и крошечных крольчат, а сторожа иногда пользуются нашим душем, обращаются ко

мне с разными вопросами по поводу ремонта того или иного электрооборудования. Сторож называет всех дачников неумехами. Как-то так вышло, что мои электродрель и паяльник остались у него, и я не могу забрать их обратно. То есть беру, но затем сторожиха снова просит: «Они нам нужнее. Да и целее у нас будут». Если в мое отсутствие Люба приезжает на дачу с другом, то сторожиха считает обязанной поведать мне о Любином госте, как бы я ни отмахивался. Любу она недолюбливает, а Виташу жалеет. Прошлым летом сторожиха познакомила меня со своей подругой, которая приехала к ним на субботу и воскресенье и работала на огороде в резиновых перчатках.

Сторожиха вызывает меня на крыльцо и протягивает тарелку с пирогом.

— Аврора Алексеевна испекла, угощайтесь.

И тут на крыльце появляется сама Аврора Алексеевна. Знакомимся. Одето опрятно. Глаза как будто добрые, живые.

— А Виталий Иванович тоже вдовый, — говорит сторожиха. — Можете вместе на кладбище ходить, когда вздумаете проведывать Веру Петровну. А Аврора Алексеевна — к своему мужу. Вдвоем веселее.

Я что-то пробурчал и ушел. Некоторое время спустя Аврора Алексеевна позвонила мне на городскую квартиру, спросила: не собираюсь ли я на кладбище? Сходили. Я положил Вере букет, посидел на скамеечке. А Аврора Алексеевна пошла к своей могилке. Мы условились встретиться на главной аллее.

Это старое Троицкое кладбище. Где-то здесь стояла церковь, где меня крестили. От нее не осталось и фундамента. Пахло нагретой землей, сухо молотили кузнечики. Я вспомнил, что местный священник был совладельцем какой-то шахты. И он лежал в этой земле.

Но где ты, Вера? Та семнадцатилетняя кареглазая девушка не здесь. А я хочу жить. Стыдно признаться ей в этом, словно обманываю ее.

Мне надо было еще сходить на могилу сына. Я закрыл глаза.

Его засыпало в забое. Я примчался на ту шахту, когда горноспасатели уже пытались пробиться сквозь завалы. У начальника шахты Зинченко шло совещание. Завалило двоих. В кабинете были закрыты окна, но с улицы доносился шум толпы. Обрушилось шестьдесят метров. Зинченко старался не смотреть на меня. Если они и уцелели в спасательных нишах, то пробиться к ним не было возможности. Я тогда был главным механиком комбината, меня нельзя было выпроводить, я сидел и слушал. Горноспасатели уточнили: не шестьдесят, а восемьдесят метров. Это меня погребли живым в узком колодце без воды и еды. Я обшаривал лучом лампы искрящиеся стены, стучал, задыхался. Коля мог прожить без воды восемь дней, а для того, чтобы пробиться к нему, требовалось полтора месяца. Он взывал ко мне из-под земляной толщи. Мы спустились в шахту. Я уперся

руками в глыбы, раздавившие костры крепления, как спичечный коробок. Горноспасатели воздвигали новую крепь.

— Ты только нам не мешай,— попросил меня Зинченко.— Мы сделаем все невозможное. Вдруг там прорвало водоносный пласт? Тогда у них будет вода.

На поверхности к нам подошла жена второго шахтера. Ее лицо было мертвым. Оно отражало лишь прошлое: физический труд и страдание родов. Она ни о чем не спросила и молча смотрела то на Зинченко, то на меня. Как будто она уже лежала рядом со своим погребенным мужем.

Зинченко окружало много руководителей, спорили, искали лучший путь. Я считал, что надо вести взрывные работы, опираясь на технику. Если бы повезло, был бы шанс. Но Зинченко решил прорубаться сверху отбойными молотками. Сперва с ним спорили, потом стали грозить всеми карами. Но он не изменил решения, потому что хоть его путь и был более долгим, да все-таки надежнее нашего. Он выбрал восемнадцать лучших забойщиков. Восемнадцать человек из н а р о д а. Работали по двое в смене, сменялись через три часа. Их молотки раскалялись. Брали новые. Потные черные оскаленные лица содрогались от передающейся детонации.

В первые сутки прошли двадцать метров, а самая высокая норма равнялась всего шести. На вторые сутки — еще двадцать. Вскрыли первый уступ. В спасательной нише было пусто. На третьи, четвертые, пятые сутки — ниши пусты. Но ниши устояли везде в каменном хаосе катастрофы. И обнаружилась вода.

Еще не поздно было начать взрывные работы. Пусть в этом был риск нового завала, но я не видел другого способа достать живых, а не трупы. На шестые сутки я в душе похоронил сына, потому что одна смена не продвинулась ни на шаг. Люди потеряли веру и лишь имитировали работу.

Зинченко ворвался в комнату шахтоуправления, где отдыхали забойщики, и кричал: кто? Поглядите в глаза его отцу! Значит, вы хотите, чтобы любой из нас с этого часа был обречен? Теперь мы не спасаем ни его, ни себя?

У каждого свои человеческие пределы. Я знал, что столкнусь с ними.

Я окончательно простился с Колей.

На седьмые сутки сына нашли. Его вывезли наверх с завязанными глазами, напоили бульоном. Через четырнадцать часов подняли и второго шахтера.

Когда три года спустя Николай умер от сердечного приступа, это для меня означало, что он все же умер от того завала. Это я послал его в шахту, чтобы он был ближе к людям. Ближе, чем я...

Я поговорил с покойницей и поклонился могиле Николая. Аврора Алексеевна сидела на скамейке главной аллеи, в пятнистой светотени

кленов. От жары она разругилась. Ярко поблескивали замок ее сумочки и черные лакированные туфли. Я сел рядом.

Ее муж был агрономом, любил круговорот земледелия, но они переехали в чужой город. И потом он заболел. Их дети, сын и дочь, простились с отцом. Не было смысла, решили они, расхотеть на обреченного свои силы.

— Природа устремлена вперед, — вымолвила Аврора Алексеевна учительским тоном. — Это естественно, что плоды не заботятся о корнях.

Но сама она стала бороться за жизнь мужа теми способами, какие были ей доступны. Нашла в Москве родственников, устроила мужа в радиологическое отделение, была готова лечь рядом с ним облучаться, лишь бы помогло. Истратила все сбережения. Порой думала: дура, ну зачем мучиться? Добро, жила бы с ним по-людски, а то ведь сколько слез пролила, когда он по другим бабам таскался! Но утром бежала в больницу, мучаясь стыдом. Почти пять лет прожил ее муж после лечения. И это были самые трогательные, светлые годы.

— У меня и Вера была такая чуткая, — сказал я. — Умирала, а все думала, как бы нам облегчить...

— У вас, наверное, железный характер, — предположила Аврора Алексеевна. — Вы все держите в себе.

— За десять дней до смерти Веры я увидел в ванной на трубе воровья... Я понял, что она умрет.

— А как он залетел в ванную?

— Не знаю. Но я все понял. И что она умрет, и что наша дочь не придет на похороны. Так и вышло.

На похоронах Веры были ее брат Антон да мы с внучкой Любой. Моя дочь Ирина прислала лишь телеграмму.

С Антоном мы давно не виделись и разговаривали допоздна. Он был зеленым паренком, когда его старшая сестра стала моей женой. У их отца до революции и при нэпе был коженно-обувной магазин в Таганроге. Мой тесть Иван Иванович был предпринимателем необыкновенным. И видом похож на грека или турка, а не на донского казака, каким был по рождению. А его отец был сапожником, любил кулачный бой — его и убили в драке. Тесть начинал с мальчишка-завывалы в магазине, вырос до старшего приказчика, потом и до компаньона. Но он ликвидировал торговлю, потому что я прямо сказал ему: либо магазин, либо мы с Верой. Старик пошел в шахту плитовым, и мои шурины взялись за горняцкий обушок, а потом, как дети шахтера, поступили учиться в горный институт. Второй мой шурин, Виктор, погиб в войну при обороне Севастополя.

Это мы и вспомнили с Антоном. Он добыл много угля и теперь живет возле Феодосии, ковыряется в своем винограднике. А не уломай

я тогда тестя, что бы с ним было? Часто тесть бранил меня: все-таки ему поздно было привыкать к подземной работе. Выходило, будто я виноват в этом.

Впрочем, жизнь смеется над нашими попытками разграфить ее на квадратики. Оставшись на оккупированной территории, мой тесть прокормил Веру с двумя детьми и спас одного военнопленного. Рядом с шахтой «Иван» немцы устроили лагерь для наших солдат. Люди лежали на земле, как скот. Умерших сбрасывали в ров с известкой. Стояло лето сорок второго года, оно сулило Гитлеру победу под Сталинградом, и поэтому немцы иногда отпускали пленных, если за них просили жены или родители. Но где взять на всех жен и отцов, если за забором томились тысячи людей из разных мест страны? Пленные перебрасывали записочки с адресами, умоляли спасти. Одна записочка попала к тестю. Какой-то кубанский казак просил привезти из станицы его жинку и обещал за это мешок продуктов. И предприимчивый старик, у которого на руках была моя семья, отложил кормившее его сапожное дело и подался на Кубань. Рассказывая мне о своем подвиге, он гордился тем, что на обратном пути его вместе с жинкой, ее сестрой и тачкой с харчами немцы везли на грузовике больше ста километров. За банку меда. Он купил эту немчур с п о т р о х а м и. Но человека все-таки спас.

— А не страшно тебе было? — спросил у меня Антон. — Ты ж белогвардейцем был?

Даже спустя целую вечность, за которую российская телега сделалась космическим кораблем, шурин видел разницу между нами.

— Ни черта не страшно, — ответил я. — После чужбины я спокой-но бы принял и пулю.

— Ну уж! — усмехнулся он. — Это сперва-то, после чужбины. А потом? Если бы взяли тебя по новой? Думал же об этом?

— Не помню.

— А я думал, что тебя загребут, — признался Антон. — Даже мыслишка была катануть на тебя письмецо, чтоб потом меня не трогали. Рука, слава богу, не поднялась.

Он улыбался, здоровенный загорелый мужик, а Веры уже не было с нами. Наверное, ему хотелось облегчить душу. Живая сестра мешала бы признаться, а мертвая будто и помогала. А ведь мог шурин катануть письмо?

Детское воспоминание: по ночному поселку идут две тысячи человек с горящими бензиновыми лампочками. Страшная и завораживающая картина. Забастовка. Неизвестность. И желание выбежать из дома к тем грозно текущим огням.

Уехал Антон, и вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся. На прощание он посоветовал пригрозить моей дочери Ирине лишением

наследства, если она забудет отца. Это в нем мой тесть отозвался. Чем я могу распоряжаться? Побрякушками моей жены? Ее шубой? Или дачным домиком? Я временный владелец всех этих вещей. Они ничтожны.

Я познакомил Любу с Авророй Алексеевной. Люба — статная, сильная, большегрудая. И Аврора Алексеевна восхищенно смотрит на нее.

Когда Виташа услышал имя «тетя Аврора», он засмеялся: — А где дядя крейсер?

На его личике отразилось Любино выражение превосходства.

Дети разрешали Авроре Алексеевне бывать у нас, но приняли ее на своих условиях, как самую младшую в нашей семейной иерархии. Однажды мы с ней собрались вечером в кино, и Любе пришлось изменить свои планы и остаться дома с Виташей.

— Не хочу с мамой, хочу с бабушкой! — закапризничал мальчик. — Мама со мной не играет!

— Бабушке сегодня не до нас, — объяснила Люба. — Он тоже хочет развлекаться. И не хнычь, а то отшлепаю.

Виташа в слезах ухватился за мою ногу. Я уговаривал его. Люба утащила мальчика в комнату и захлопнула дверь.

— Может, не пойдем? — предложила Аврора Алексеевна виноватым тоном.

— Давай завтра, — согласился я.

И мы остались с Виташей, а Люба ушла. Однако после этого она охладела к Авроре Алексеевне. Я должен был задуматься: к чему это нас приведет?

Люба заговорила о том, что скоро выйдет замуж и хочет, чтобы муж жил у нас.

Его звали Денис. Ему тридцать пять лет, лицо живое, хорошее. Не старался понравиться, но часто оглядывался на Любу. Я выпил с ним рюмку водки, вспомнил, что в годы войны был знаком с директором института, в котором он работает. Мне польстило, что этот парень знал меня как ученого. Правда, в его годы не следовало так критически оценивать работу всего института, как он делал.

Потом Люба спросила, и я ответил, что Денис мне понравился.

Он переехал к нам. С Виташей у него началась дружба. Денис играл с ним в коридоре в футбол большим резиновым мячом, сперва поддавался и пропускал много голов, но когда счет становился 9:0, быстро отыгрывался, и оба кричали, толкались, смеялись, стараясь забить решающий мяч. Несколько раз Денис выиграл, и Виташа плакал от обиды. Однажды разгоряченный мальчик укусил его за палец, и Денис, улыбаясь, похвалил его. За спортивную злость.

Иногда в воскресенье Денис уходил проводить своего сына к первой жене. Тогда Люба нервничала, злилась на меня и Виташу. Но мы оставляли ее, уходили гулять за шоссе.

Вдоль шоссе шло поле сизовато-зеленого ячменя. Оно полого опускалось к небольшой балочке, заросшей шиповником и терном. По дну бежал ручей. Он выходил из глинистого бугорка и через сто — сто двадцать метров исчезал в расщелине. Ручей был нашей тайной. Подземный водоносный пласт, обнажившийся в одном месте, приоткрыл нам невидимую сторону природы. Виташа назвал ручеек Бабушкиным. Потому что бабушка жила с нами и куда-то ушла. Умерла, Виташа? Нет, не умерла, а просто мы перестали ее видеть.

Я сказал, что в старину, когда еще жил мой дедушка, в ручьях и реках водились водяные, а в лесу лешие. Виташа шепотом показал мне у кустика молочая степную дыбку, крупного зеленого кузнечика, и стал к ней подкрадываться, держа ладонь горстью. Но на буроватосером плоском песчанике что-то мелькнуло, зеленоватая ящерица схватила дыбку и прокусила ей длинноусую голову. Мальчик застыл, потом быстро присел. Но ящерица ускользнула от него. Он раздвинул стебли молочая, оглядел склон.

Когда-то немало притких ящериц побывало в моих руках, оставив узенькие хвосты. И ящерицы, и бабочки-адмиралы, ленточницы, нежно-лимонные подалирии и десятки обыкновенных боярышниц, и жуки-бронзовики, и рогатые жуки-олени, и разные стрекозы, от большого голубого дозорщика-повелителя до маленькой лютки-дриады, — сколько их всех было мной поймано и с увлечением замучено в неугасимом желании познать, как они устроены.

Не найдя ящерицы, Виташа вспомнил мои слова о том, что у меня был дедушка, и удивился этому. Я удивился вслед ему. Неужели у меня был дед, который верил в леших, водяных и домовых, который родился крепостным, стал шахтером и потом механиком? Я изумился некоему чуду, таившемуся в явной близости давно ушедшей жизни. Дед всегда держал огород, и мой отец тоже держал, и я, куда бы меня ни заносило, и в Нарыме, и в Кузбассе, и на донецких шахтах, заводил градки.

— В Бабушкином ручье тоже водяной? Какой он?

Но не я отвечал мальчику, а дед Григорий:

— Водяной — это лысый старик. Живот у него надутый, лицо пухлое. Он ходит в высокой сетяной шапке, с поясом из водорослей. С левой поры капает вода. В руке зеленый пруток. Ударит им по воде — вода расступается...

А я молил: запомни меня, Виташа! Запомни все: и этот день, ящерицу, ручей, водяного... Я был! Я любил тебя, нашу землю, вот эти кусты молочая и полыни. Запомни меня, мальчик.

— В Бабушкином ручье — маленький водяной.

Мы стали строить плотину из глины, галечника и обломков породы, похожей на аллевролит. В обнажениях склона угадывалось древнее морское дно. Эту же глину могли месить когтистые лапы тираннозавра.

— А дядя Денис говорит, что теперь тебя надо женить,— сказал Виташа.

— Он пошутил,— ответил я, раскачивая плоский камень, сидевший глубоко в земле.

Ночью я плохо спал. Шел сильный дождь, тяжелые струи стучали по крыше. Сквозь шум раздавались мерные удары капель об пол: где-то прохутился шифер. Такие ливни порой случаются в наших краях, но этот казался особенным, потому что бог обращался только ко мне. Может, не бог, но кто-то другой, настолько могущественный, перед кем я был одинок и беспомощен. Почему они захотели женить меня? Чем я им мешаю?

Утром было солнечно и сыро. Над огородами курились туманные дымки. Пахло мокрой землей. Громко кричали воробьи, и с короткими промежутками стучал дятел. Я вышел за калитку и ужаснулся. Что наделал ливень! Осевший прошлой осенью мостик занесло песком и грязью; вода перехлестнула через него, прорыла через соседский участок овражек и разметала грядки клубники.

Мне стало неловко, ведь мостик был наш. Однако я вспомнил, как Аврора Алексеевна рассказывала, что осенью сторожа через этот мостик завезли на свой участок два самосвала с навозом и что мостик поэтому вдавило в землю. Они были сами виноваты.

Наш огород не пострадал. Грядки смотрели упруго и сочно. Искрились капли на траве. Кольчато поблескивали дождевые черви. Лишь голые сучья замерзшей яблони чернели среди живого сада.

Я не заметил, как подошла сторожиха. Она с горестной улыбкой обратилась ко мне, ища сочувствия.

— Вас-то совсем не задело,— сказала она.— Даже ни единого корешка не унесло. А ведь мостик-то ваш виноват.

— Его давно надо отремонтировать.

— Вот видите! Я и говорю, что все из-за вашего мостика... Слабосильный вы хозяин, Виталий Иванович!

Я не спорил, и на этом мы разошлись.

— А что Аврору Алексеевну не приглашаете? — вдруг спросила она, обернувшись.

Я молча развел руками.

— Характерами не сходитесь? — с настойчивым простодушием продолжала сторожиха.— Или Люба боится, что после вас придется наследство делить? Пусть не боится. Аврора Алексеевна очень деликатная женщина. На молодых сейчас нечего надеяться, а она верная и преданная.

— Мне с богом пора разговаривать,— ответил я.— Напрасно хлопочете.

— Стараюсь, чтоб вам же было лучше.

— Нет, напрасно, честное слово,— повторил я.

— Виталий Иванович, может, вам неловко сделать ей предложение, так я могу от вашего имени.

— Она не в моем вкусе! — отрезал я.

Сторожиха осуждающе покачала головой. По-видимому, моя фанфаронская фраза поразила ее.

Днем меня окликнул сторож. Он возился у размытых грядок. Рядом стояли железная тачка с землей и лопата.

— Хороший денек, Виталий Иванович!

Глаза шестидесятилетнего крепкого мужчины. Я не знаю, что в них таятся. Он трет ладонью загорелое плечо, улыбается мне:

— Не повезло нам, Виталий Иванович. Мы люди небогатые. Вот клубники думали отсюда взять ведра три. А что теперь?

— Ну у вас много грядок,— утешил я его.

— Много-то много, да они не с неба свалились. Жалко... Рублей пятьдесят, как? Полсотни вам не убыток?

— Не убыток? — переспросил я.

— А разве убыток! Поди, сотен пять получаете. И опять же все из-за вашего мостика.

— Вы хотите, чтобы я заплатил? — удивился я.

— Не заплатил,— поправил сторож.— За что тут платить? Вроде бы компенсируете. Пусть не полсотни. Можно меньше. Сколько сможете.

— У меня нет денег,— холодно ответил я.— Если угодно, пусть ко мне обращается владелица участка, ваша сноха.

— Я, конечно, не владелец, Виталий Иванович. Юридически! Но фактически... Земля принадлежит тому, кто на ней трудится. Какая вам выгода ссориться со мной? Близкий сосед лучше дальнего родственника. Люди сейчас не ценят друг друга. Отсюда всякое зло. Вот я знаю случай: пропала в одной семье маленькая девочка. Нашли через несколько лет у соседа в подвале. Он ее на цепь посадил и держал как собаку. Почему такое зверство? Из-за мелкой ссоры. Я, конечно, ничего худого против вас не сделаю, но откуда вы знаете, что за мысли у меня в душе? Неужели душевный покой не стоит тридцатки?

А что я мог ответить? Дело было не в деньгах, а в моей старческой беспомощности. Объяснять, что он же сам прошлой осенью поломал мостик?

* * *

По радио в конце последних известий сообщили, что один латиноамериканец попытался перелететь на дельтаплане пролив Бурь, но через пятнадцать минут после старта с ним прервалась связь, вероятно, порыв ветра сбросил его в море.

Я представил, как этот человек пристегнул крылья, прыгнул с обрыва и полетел навстречу гибели. Впрочем, навстречу гибели летят редко. Не к ней он летел.

Мне приснилось, что это был Лобанов.

Кажется, у Ивана Бунина есть рассказ «Пароход «Саратов» — о любви, ревности и убийстве на этой почве. 15 ноября 1920 года я в последний раз глядел на родную землю Севастополя, на Сапун-гору, Малахов курган, Северную сторону... Пароход «Саратов» отошел от берега. Все палубы, каюты, коридоры, трюмы были забиты людьми. Кого здесь только не было! Офицеры, сестры милосердия, осваговцы, купцы, жандармские чины, промышленники, священники, старухи, дети. И среди них — инженеры, агрономы, землестроители, служащие почтово-телеграфных контор, врачи. Те, кто не был ни дворянами, ни буржуазией. И я с ними.

Шли черепашным шагом. В первый же день кончилось продовольствие. Воды в перегонных кубах не хватало. Трупы умерших от тифа сбрасывали в море. Несколько раз я слышал невыносимые женские крики — кричали роженицы.

Сама обреченность плыла на «Саратове». Однако ее не замечали, пусть умерли бы и тысяча человек. Обреченность плыла сейчас, спустя более полувека, когда я не имею ничего общего с прапорщиком Виталием Лукьяновым. Она пришла позже, а тогда в спокойном теплом море... Что же было тогда? Ожидание, надежда, что скоро корабли вернутся назад. И еще плыла на «Саратове» ненависть.

Вот полная старуха пытается протиснуться на верхнюю палубу. У нее пропала собачка. Чей-то бас объявляет: «Сожрали вашу псину, мадам! Одесский маклер Грамматикати сожрал. Сам видел!» Это веселое «сам видел!» до сих пор слышится мне. И еще вижу выбритое молодое лицо врача Лобанова и даже сейчас удивляюсь: ведь воды практически не было! Лобанову двадцать восемь лет, он — красный. Был мобилизован в Красную Армию, служил главным врачом полевого госпиталя, потом помощником дивизионного врача. Был взят в плен под Ростовом. Служил у белых как военнопленный врач сперва в денкинской, затем во врангелевской армии. При эвакуации из Крыма принудительно мобилизован на «Саратов» для сопровождения раненых и больных. Три мобилизации за два года. И еще год — полковым врачом на Западном фронте.

И ни в кого ни разу не выстрелил. Неужели остались такие? И они имеют право бриться, когда нет воды?

В Севастополе Лобанов делал мне перевязку и напевал, кажется, так: «Эх, не сносить тебе, казаче, эх, да буйной головы». В таком-то незатейливом смысле. У меня на шее гноящаяся рана. Один гранатный осколок из нее вытащили, а второй затаился под сонной артерией, и никак его не выколупаешь.

Значит, этот осколок и по сей день во мне.

— Вы еще в возрасте чувств, а я уже в возрасте мыслей,— посмеиваясь, ответил Лобанов на мой вопрос, почему он поет.

И еще сказал: вот сейчас другой доктор, тоже из разночинцев, тоже в лазарете, но на той стороне, перевязывает раненого в ашей пулей русского мужика. Выходит, я и там, и здесь. А где вы? Интеллигенция пятьдесят лет добросовестно подрывала основы монархии... Ваши родители на той стороне?

Моя догадка-испуг: «Его заберет контрразведка!» Потом — стыд, признание, что меня принудительно мобилизовали.

Бритое лицо Лобанова. Затекие ноги в приросших к ступням сапогах. Крысы в трюме. Череп и кости на погонах. Заломленные фуражки офицеров. Что еще? Того Лукьянова нет. Что толку оживать его? Туман оседает на палубу, брезент, канаты. Сквозь дымку — зимний день восемнадцатого года, казачий погром в шахтерском поселке, рабочая самооборона. Бесстрашно-морозные глаза моего отчима Кузнецова, который выбивал казаков... Может, мама знает, что я живой? Отпущенный мной пленный красноармеец, шахтер с Берестовского рудника... Нет, вряд ли он стал разыскивать мою мать, чтобы передать весточку от меня.

Провал в памяти. Не снимаемые неделями сапоги. Каменная корка на сердце. «А я ведь могу вас застрелить, доктор!» — «Дурачок. Я такой же, как и ты».

Он произнес эти слова не в Крыму, а на другом полуострове, Галлиполийском, в «долине роз и смерти». Дельтапланерист летел над прозрачно-зеленым морем. Он снизился над берегом и побежал по белой известковой земле, накренив крылья.

Голубоватые очертания Стамбула, купол Айя Софьи, мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя. «А сэрэдь поля гнэться тополя, та й на козацьку могылу...»

— Дурачок,— снова сказал дельтапланерист Лобанов.— А ты постарел, Витаха. Совсем старый хрыч. И тебя не расстреляли красные?

— Вроде нет. Я даже дослужился до генерала по шахтерскому ведомству.

— Не верится, Витаха. Ты давно сгнил в каком-нибудь бездонном болоте.

А наш «Саратов» и другие корабли, высадив гражданских беженцев, выходят из гавани. Впереди — брошенный городок на каменистом берегу Дарданелл. Галлиполи. Солнце, тепло. Неосознанные души русских солдат, погибших здесь в плену в войне за освобождение Болгарии. И души запорожских казаков, ходивших на

султана. И грозный Ксеркс, который велел высечь эти морские волны, разметавшие его корабли... И аргонавты, плывущие в Колхиду.

Я понимаю, что сплю, что вижу сон, но иду вдоль белых палаток в «долине роз и смерти», марширую, играю в футбол, читаю лагерную газету «паршивку» и боюсь, смертельно боюсь кутеповской контрразведки. Расстреляли двух офицеров Дроздовского полка.

Я поднимаюсь на холм, а на других холмах, окружающих долину, стоят такие же молодые люди, как я, и мы с тоской смотрим на узкий дарданелльский коридор, по которому плывут огромные белые пароходы. Впереди — гористый берег Малой Азии, налево — сизая даль Мраморного моря с грядой островов на горизонте. За островами Босфор, Черное море, родная земля... На холме впереди меня человек подносит к виску револьвер, и негромкий звук выстрела пронесся над долиной. Я хочу сделать то же. Я не хочу умирать, но душа так болит, что рука с радостью поднимает револьвер. Только быстрее! На мгновение меня останавливает серая ящерица, замершая на камне.

— Сказать, кто ты? — опять видится мне Лобанов. — Лучше повернись на другой бок.

Я переворачиваюсь, и в августовский день 1921 года турецкий пароход «Рашид-паша» швартуется в порту Варны, я уже в Болгарии.

Лукьянов — дорожный рабочий. Мы роем дорогу в горах. Братия болгары, бедные, веселые. «Пей, Иван, кисло млеко! Русия — наша майка», мать.

«Кон до коня, мила моя майньо льо, юнак до юнака...

Бой да правят, мила моя майньо льо, съес неверни турци...»

И я пою с ними эту старинную воинскую песню про поход царя Ивана Шишмана, похожую на наши песни своим грозным мужеством.

Мои болгары погибли в сентябрьском восстании. Наша гражданская война настигла меня, поставив в один ряд с теми, против кого я воевал.

Село широко раскинуло белые глинобитные дома вдоль пыльных улиц, оно было беззащитно против колонны правительственных войск, хотя крестьяне и дорожные рабочие отстреливались из-за низких каменных заборов. Я не вмешивался, сидел в корчме вместе с хозяином, корниловским офицером Бойко, который недавно женился на дочери корчмаря. За час все было кончено. Нас с Бойко вытолкали на улицу, не слушая, что мы русские и держим нейтралитет. Черноусый, рослый, одетый по-болгарски, Бойко в своих суконных шароварах, белой рубахе, безрукавке и кожаных сандалиях-царвулях казался вылитым болгариним. Я же был в дешевом костюме и старой фуражке без кокарды. Но вдруг мы услышали родную речь.

— Господа! — крикнул Бойко.

Нас вытащили из толпы пленных. Подпоручик Бойко и прапорщик Лукьянов не были расстреляны, как животные.

— Опустились вы, господа, в Задунайской провинции! — сказал один каратель. — Молитесь богу, что встретили нас.

И вот я говорю лекарю болгарской сельской больницы Лобанову:

— Я возвращаюсь домой. Давай вместе.

Дельтапланерист в моем сне парит над строящейся дорогой, улетает и возвращается. По сухой земле скользит быстрая орлиная тень.

Лобанов, ты еще жив?

Я проснулся, лежу и слушаю ночные звуки. Я дома. Я давным-давно дома. Живой, старый, навидавший смерти. В проеме тяжелых штор уже зеленеет небо.

Полуправда сна все еще держит меня. Я медленно вспоминаю возвращение, арест, проверку. Отчим поручился за меня. Мне выдали паспорт.

В июле сорок первого года я был призван в Красную Армию и оставлен в распоряжении наркомата тяжелой промышленности. В августе эвакуировал из Донбасса шахтное оборудование и взрывал шахты. Несколько дней над городом стоял гулкий стон взрывов.

Однажды мне пришлось уничтожить немецких десантников. Я лежал с винтовкой на железнодорожной насыпи, и вдруг почудилось: галлиполийские камни, ящерица, далекая гряда островов... Я задержал дыхание и тщательно прицелился...

Поздней осенью сорок третьего года я вернулся из Кузбасса на пепелище. Города не было. Я мог его угадать, лишь читая промокший от дождя транспарант на закопченной стене: «Из пепла пожарищ, из обломков развалин возродим тебя, родной город!» Это была клятва с сжатыми зубами. Донбасс был мертвый. И я стал одним из солдат восстановления. Друг мой Лобанов, мы работали под землей по двое-трое суток, но это тебе ничего не объяснит. «На то и война», — скажешь ты. Вот что, душа Лобанов, представь группу шестнадцати-пятнадцатилетних девочек, детей по нынешним меркам. Они расчищали шахтный двор. Мороз, ветер. Несколько направляя к стволу помочь мужикам. Из глубины поднимается грузовая клеть с вагонеткой, им надо вытолкнуть ее на рельсы. Они толкают и ревут в голос — в вагонетке полуразложившиеся трупы казненных. Толкают и ревут...

Мы с Любой читаем мальчику на ночь. Я чаще, Люба реже. Виташа лежит в красной пижаме, умытый и причесанный. Он вытягивается, кладет руки под голову, показывая, что приготовился спать, и с радостным нетерпением смотрит, как я сажусь перед ним на низенький стул. Сна нет ни в одном глазу.

— В русском царстве-государстве жил богатырь Илья Муромец. Он был большой и сильный, только ноги у него не ходили. И сидел он беспомощный на печке. А на русское царство-государство напал

Соловей-разбойник и побил все русское войско. Земля сделалась красной от крови, даже листья на деревьях росли красные. Отец Ильи Муромца был старый дедушка. И он стал собираться на бой с Соловьем-разбойником. Хочет поднять меч, а сил нету. И плачет. Позвал он свою молодость, чтобы вернулась к нему хотя бы на один день и дала ему силу сразиться.

Я останавливаюсь и думаю: а что же дальше? Хочется рассказывать о старике, а не об Илье Муромце. Виташа серьезно глядит на меня, словно все понимает. Но проторенная колея не позволяет уклониться. Богатырь совершает свои подвиги, а о старике больше речи нет.

Побежден Соловей-разбойник, отрублены головы дракона, посрамлен спесивый киевский князь — и я встаю со стульчика, иду гасить свет.

— Уф! — огорченно говорит мальчик. — Спокойной ночи.

Что останется у него от моих сказок?

Спустя несколько дней мы сидим на тахте и играем в морское сражение. Вражеский флот окружает наш крейсер, помощи ждать неоткуда. Что делать, Виташа?

— Убегать?

— Нет, на войне убегать нельзя. Будем драться.

Палим из всех пушек, маневрируем машиной, тушим пожар. Виташа прыгивает на пол и рубит пластмассовым мечом воздух. Враги отступают.

Вообще-то он часто отвлекает меня от работы. Я хочу издать свои лекции по курсу «Основы научных исследований», сижу над рукописью, а дверь запираю на защелку. Когда Виташа начинает стучать, я строго говорю ему, что он мешает.

— Поиграй со мной, — просит он.

Вряд ли я заменяю ему отца. Скоро он спросит об этом человеке, у которого есть и семья и ребенок и который никогда не был Любе мужем, хотя она обычно говорит, что она разведенная. Семь лет назад Люба ответила мне, что решила рожать, потому что уже сделала один аборт и не хочет остаться бесплодной. Когда Виташа родился, я позвонил его отцу, и мы встретились. Он держался твердо и обещал усыновить мальчика. Но не усыновил, а лишь каждый месяц дает Любе по сорок рублей. Столько, сколько может. Когда-то он защищал кандидатскую, она попала мне на отзыв. Я собирался отказаться, а затем взял: не с тем, чтобы навредить. Наоборот — хотел помочь. Стыдно признаться, но мной руководили соображения денежной выгоды для Виташи, ведь я вряд ли дотяну до его совершеннолетия.

На лекциях я призываю студентов смотреть на жизнь своими глазами. Вспоминаю классические примеры — от Архимеда до современных исследователей. Порой я рассказываю древнегреческие мифы. Мне нравится миф о Сизифе. Почему о нем, а не о Прометее?

Потому что, бунтуя, титан Прометей знал все наперед: и ожидающие его муки и освобождение от них. Сизиф же был смертный человек.

— Напомню вам эту старую историю, — говорю я студентам. — Он был любимцем богов, Зевс приглашал его на олимпийские пиршества. А Сизиф был бодрым, крепким стариком, и ему хотелось жить. Случилось так, что он узнал об очередном любовном приключении громовержца: Зевс похитил дочь речного бога и держал ее на острове. Отец всюду искал пропавшую. И Сизиф решил рассказать речному богу о его дочери и взамен получить надежный источник воды для своего города. Причем наверняка знал, что придется держать ответ перед всемогущим Зевсом. Так и получилось. Жена Зевса устроила скандал, и разгневанный Зевс послал к Сизифу маленького крылатого мальчика с факелом в руках, бога смерти Танатоса. Однако Сизиф устроил засаду, заковал Танатоса в кандалы и запер в подвале. И люди перестали умирать...

И так далее.

Но вот незадача — заведующий научно-исследовательским сектором против издания моих лекций отдельной брошюрой. Он пожимает плечами: что, мол, с того, что я собирал свой курс по крохам, по искоркам вдохновения, рассыпанным в различных источниках?

— А где вы родились? — спрашиваю я его.

— Я местный, из Лукьяновки. Но не все ли равно, Виталий Иванович, где я родился? — Он хлопает по моей рукописи крепкой ладонью с выпуклыми квадратными ногтями. — Надо дорабатывать. Надо построже. И побольше о наших разработках. И поменьше лирических отступлений.

— Вы позволите оспаривать ваше мнение? — справляюсь я.

— О чем речь, Виталий Иванович! — улыбается заведующий. — Помните, как вы драли меня за уши? Мы дергали морковку на вашем огороде. Я и попался вам под руку. Правда, потом вы повели меня в дом и накормили. Но уши все-таки надрали.. Ну, вспомнили?

— Не припоминаю. А где вы жили? — Я спрашиваю только из вежливости.

— Во вторых бараках, — оживляется он.

Те бараки я помнил. Летом двадцать шестого я приходил туда, чтобы заступиться за мальчишку, у которого отнимали зарплату, обыгрывая его в карты. Обыгрывал Комаров, задорный шахтер-отчаюга. Он пригрозил мне ножом и посоветовал: «Катись-ка в свои Аргентины!»

— Во вторых бараках жили упорные люди, — говорю я. — Вряд ли мне доведется увидеть вашу визу на моей рукописи.

Через несколько дней он попросил меня принести греческие мифы, сказал, что ими заинтересовалась его жена. Я дал ему старую книгу, сохранный моей матерью. На обложке стояла надпись: «Ученику четвертого класса Виталию Лукьянову за отличные успехи и отличное поведение».

И больше я не увидел этой книги. Его жена дала почитать подруге, а у той украли из письменного стола.

Сообщив обстоятельства пропажи, заведующий погладил щеку. На щеке была черная пухлая родинка размером побольше горошины, окруженная розовой воспаленной кожей. Мне было жалко книгу. Я представил, как заведующий утром брился, косоротился, мучился с этой родинкой. Потом я подумал, что теперь он несомненно завизирует мою рукопись. Другого выхода у него не было. И жена, и ее подруга, и похититель опровергли его утверждение, что мои лирические отступления интересны только младшим школьникам.

— Я виноват,— сказал он.— Потерю компенсировать в трехкратном размере.

— Оставьте,— отмахнулся я.— Неужели вы в состоянии снова наградить гимназиста Лукьянова? Это не в ваших силах.

Все-таки заведующий принес мне современное издание мифов. Правда, без всяких надписей.

— А вот согласиться с вашими лекциями никак не могу! — заметил он со вздохом.— Не в моих правилах.

Вполне порядочный принципиальный человек. Можно ли его осуждать? Еще он выразил желание посмотреть мою библиотеку. Не хочу ли я кое-что ему продать?

Лобанов больше не снился.

Дельтапланериста не нашли.

Я стал его забывать, но вспомнил других.

— Катись ты в свои Аргентины! — послал меня Комаров.— Нету у меня денег. Проголулял.

Он обыгрывал в карты мальчишку-шахтарчука. В бараке его боялись. На месте того деревянного барака давно построена школа. А Комаров и мальчишка погибли у меня на глазах. Они сажали лаву; кровля пласта не опустилась даже после того, как были выбиты последние стойки крепления. Оставлять у себя за спиной нависший корж невозможно. Прихлопнет не только выработанное пространство, но и забой вместе с людьми. Комаров выскочил из лавы, когда начало трещать, а мальчишка замешкался. Я и Комаров поглядели друг на друга и кинулись за ним. Он оттолкнул меня. Меня отшвырнуло воздушной волной. Я протер запорошенные пылью глаза, поднялся и стал разгребать комья. Там, где исчез Комаров, земля была увлажнена, а вокруг — сухая. Я застонал от бессилия и горя.

Но вот ночью я увидел сон: по снежной дороге Комаров ведет маленьких детей. Это зима сорок первого года, понял я, строим новую шахту в Кузбассе. Но почему Комаров? Откуда? Дети идут колонной. Скрипит дорога, звенят под топорами деревья. «Это не дети,— сказал Комаров.— Это души».

Утром я раздумывал: что бы это означало? Большинство тех, кого я знал в своей жизни, могут разговаривать со мной только в снах. Да, вот что. Неужели я пойду жаловаться на заведующего, доказывать, что написал достойную работу?!

Я пошел в детский сад. Виташа что-то строил из песка. Воспитательница, робко-улыбчивая женщина, сказала мне, что с ним легко, что он покладистый ребенок. Я думаю, покладистых детей не бывает.

— Тебя обижают? — спросил я у мальчика.

— Да,— вздохнул он.— Хотят поломать город.

Перед ужином он делал гимнастику. Я держал его за ноги, и он ходил по полу на руках. Нужно быть сильным.

Виташа запыхался, положил голову на кресло и стал подтягиваться, чтобы залезть в него. А я крепко держал его за тонкие лодыжки.

— Давай я сяду на тебя верхом,— предложил он.

— Нет, пройдем еще круг.

— У! Тогда не буду!

Он вырвался, а я в ту минуту стоял, согнувшись, и его пятка угодила мне в губы. Не больно, но неожиданно. Убежал, хлопнув дверью.

Я пошел за ним.

— Что же ты в саду не даешь сдачи, а против меня воюешь?

— У!

Я взял его за плечи, повернул. Лопатки остро торчали, как крылышки. Он исподлобья глядел на меня.

— Обидчиков надо бить. Дай ему в нос. Все мужчины должны уметь драться.

— А мне жалко,— буркнул Виташа.

И мне эту жалость надо из него вытравить?

— Вот ты ударил меня ногой, а мне больно.

— Тебе больно? — спросил он. И заплакал.

Я стал утешать мальчика.

В России сила может многое и не может многого.

Все же это была хорошая мысль: покой стоит тридцать рублей. Я отдал деньги сторожу. Мы посидели, поговорили о наступившем лете.

— Хотите, почию ваш мостик! — смущенно предложил он.

— Спасибо.

— Что там! Сделаю, Виталий Иванович. Свои люди. Между нами даже забора нет.

Все, что есть у меня, скоро исчезнет. Точнее, все останется, но только без меня. Но кто обладает этим миром вечно? Короткой жизни хватает, чтобы узнать его свет, горечь, надежду.

В яблонях переливались солнечные лучи.

— Господи, как хорошо! — сказал сторож.

Виташа увидел меня и показал на солнечное сито листьев:

— Дедушка, смотри. Зеленый всадник на солнечном коне скачет.

— На снежном коне,— тихо ответил я, повторив слова моей матери, которыми она разбудила меня давним зимним утром.

И на мгновение они встретились, мальчик и прапрабабка...

СПАСЕНИЕ

Никита Бураковский, командир взвода горноспасателей, пошел с женой в кино. Перед началом фильма зазвонил звонок, и Бураковский кинулся к дверям, оттолкнув опоздавшего гражданина.

— Никита, ты куда?! — крикнула вслед жена.

Он опомнился и вернулся чуть смущенный. Зрители уже заходили в зал. Жена смотрела на него удивленно, даже осуждающе.

— Я думал, это тревога,— повинился он.— Уж очень похоже.

Жена взяла его под руку и повела в зал. Она была маленькая, порывистая, а Бураковский большой и неторопливый.

Впрочем, он понимал, что и Наташа, и вся его жизнь угасают в его остывающей памяти, потому что он умер. Двенадцатого января в восемнадцать часов двадцать минут диспетчер шахты «Н-ская» вызвал четвертый горноспасательный взвод по роду аварии «внезапный выброс» в забое пятого восточного конвейерного штрека пласта X8. В восемнадцать тридцать на шахту прибыли два отделения взвода во главе с командиром взвода. Бураковского с ними еще нет, он живет и дышит. По диспозиции на шахту вызвали все подразделения горноспасательного отряда. Бураковскому все еще везет. В восемнадцать пятьдесят на шахту прибыли четыре отделения оперативного взвода. Но к девятнадцати часам пятнадцати минутам там были сосредоточены уже двенадцать отделений и командный состав. Пока спецмашины мчались по городу, ревя сиренами, Бураковский подремывал, иногда поглядывал в окно на заснеженную улицу и снова закрывал глаза. Дышит. На шахте к его приезду сложилась такая обстановка: в забое пятого восточного конвейерного штрека произошел внезапный выброс угля и газа, которым застигнуто четыре человека; диспетчером введен в действие план ликвидации аварии; электроэнергия отключена; вентиляторы главного проветривания работают нормально.

Горноспасателям была поставлена задача: найти пострадавших, помочь им и разгазировать аварийную выработку.

Бураковский помнит, что все они лежали головой в сторону выхода из забоя, лицом вниз с включенными светильниками. Самоспасателей при них не нашли. Должно быть, все произошло очень быстро.

Застигнутые внезапным выбросом люди спасались от обвала и бежали к центральному уклону, пока волна болотного газа не удушила их. В рудничной атмосфере кислорода было меньше процента. Бураковский почувствовал, что его дыхательный шланг как будто сузился, и накачал байпасом из кислородного баллона три дополнительных глотка. Дыхание восстановилось. Никогда он не сможет привыкнуть спокойно смотреть на погибших шахтеров...

Но ведь Бураковский уже умер, оставив после себя — что?

На этот вопрос трудно ответить.

Серые фигуры горноспасателей медленно пробирались по заваленному штреку. Копылов за что-то зацепился и упал лицом в угольную пыль. Он был уже без сознания, когда Бураковский протасил его на метр вперед. Дыхательный шланг был вырван у Копылова изо рта. Бураковский сунул ему свой, поддал кислорода и сильно нажал грушу свистка. Надо было скорее отходить. Он уже испытывал какую-то тесноту в легких, но продолжал делиться воздухом из своего респиратора. Потом теснота стала мучительной. Бураковский порывисто вдохнул шахтного воздуха, огни светильников затуманились и погасли.

И проснулся. Уже весна, за окном довольно светло. Посвистывает синица. В монастырской келье со сводчатым потолком жарко натоплено, пахнет сухим мелом. Живой. Живет после реанимации, смотрит, трет ладонью щеки. В окно видна часть темно-красной кирпичной стены. Бураковский с треском отворяет форточку и виновато оглядывается, но сосед спит. Седоватый клин его бороды прижат складкой одеяла. Вчера сосед спрашивал Бураковского, какая у горноспасателей зарплата, не страшно ли работать и как жена относится к риску. «А что было, когда ты потерял сознание? — спросил он. — Какая она, смерть?» — «Смерть не объяснишь», — пожал плечами Бураковский. «А вот древние греки представляли смерть в образе маленького мальчика с золотым ножом».

Бураковский, кажется, тоже кого-то видел в последний миг, только вот трудно вспомнить. кого же.

Умывальник находился в коридоре. Наверное, раньше в келье стоял таз с рукомойником, монах умывался и потом молился. Мужик он был молодой, крепкий. Старому дали бы комнату попросторнее.

Бураковский умылся, побрился и продолжал думать о монахе, который ведь тоже умер, хотя что значит «тоже», если Бураковский живой, из пореза на его подбородке выступила капля крови, и он одеколоном ее прижег.

Сосед уже проснулся, смотрит ласковыми живыми глазами.

— Я здесь когда-то был в пионерском лагере, — улыбается Бураковский. — Было мне двенадцать лет. Я тогда влюбился.

— Хороший будет денек, — говорит сосед. — Ноги болят от лыж. У тебя не болят?

— Честное слово, влюбился... Ну, я пошел завтракать. Догоняйте.

После завтрака Бураковский взял лыжи и поднялся по укутанной темной дороге на гору. Внизу среди снега чернели сосны. За полосатыми столбиками ограждения шел обрыв. На противоположном склоне поднимались трещиноватые меловые отроги. Дорога вела к лесничеству и летним пионерским лагерям. Правда, там, наверху, не было удобных спусков, но Бураковскому уже наскучили привычные маршруты на крутом берегу реки. Сквозь редкие облака сильно прилобилось солнце, заблестела зернистая корка наста вдоль обочины.

Девочку звали Люда. У нее были большие глаза и толстые губы. Бураковский отворачивался, когда она ловила его взгляд. Рядом с ней он становился беспокоен.

Дорога поднялась выше монастырских башен, и маленький поселок внизу сделался виден со всей своей темной геометрией на фоне снега. Вскоре дорога выровнялась. Бураковский стал на лыжи и пошел между высоких тонких сосен, которые запомнил маленьким.

Нет, сизоворонку они увидели не здесь. Сейчас он находится еще далеко от лагеря, а тогда отряд шел как бы навстречу ему нынешнему, сейчас бы они встретились вон там, возле сухого дуба. Этот дуб сгорел в сорок третьем году, когда здесь шли бои. Он был совсем серым, уже без следов обугленности.

Наст проваливался, лыжи шли с хрустом. Он попробовал бежать, однако быстро взмок и выдохся. За соснами открылось чистое поле с кустиками полыни. Кажется, тут была запретная зона: перепаянную песчаную почву, усеянную гильзами и железными обломками, огораживал забор из колючей проволоки.

Красивая птица с плотным блестящим оперением шла по борозде. Сизоворонка была величиной с галку, ее спина и плечевые перья были глинисто-рыжие. Она взмахнула большими острыми крыльями и тяжело перелетела на несколько метров. Бураковский и Люда пошли за ней. Позади слышался голос физрука и шум отряда, и Люда побоялась идти дальше колючей проволоки. Птица исчезла, но запретная зона притягивала Бураковского. Он пролез под проволокой и почувствовал, что не зависит от остальных. Он искал гильзы и уходил все дальше в глубь зоны.

Вернулся в лагерь спустя полтора или два часа, ожидая наказания и не понимая, почему зона так притягивала его. Физрук завел Бураковского в клубе за пыльный занавес и ударил по щеке. «А если бы подорвался?» — тихо спросил он. Они не знали, что когда к физруку придет старость, а мальчик вырастет, то они встретятся. У физрука в руках будет авоська с пакетом молока и полбуханкой хлеба, но дело не в единственном пакете или куске, а в том, что от него будет исходить дух покинутости и одиночества. «Вы были у нас в лагере физруком», — сказал ему Бураковский. Тот улыбнулся

с расслабленной лаской неузнавания. «У вас часто убегали в запретную зону? — спросил Бураковский. — Вот я, например, убегал. Еще девочка была, смуглая, волосы вились». — «Не помню. Много убегало. Вы ж все дурные были». — И физрук засмеялся.

Бураковский втянулся в размеренный ходкий ритм и шел навстречу чему-то, что быстро меняло облик, вызывая приятное беспокойство.

Впереди медленно двигался по полю рыжеватый зверек, похожий на щенка. Он проваливался в снег по брюхо. Бураковский прибавил шагу. Зверек тоже прибавил, его тело стало горбиться чаще, но лапы по-прежнему зарывались в снежную крупу. Это лиса, с опозданием понял Бураковский. Он ведь видел лис не каждый день, и поэтому щенок с пушистым большим хвостом не сразу превратился в лису. Если бы дочка Бураковского была младше года на четыре, как бы она обрадовалась живой лисе. А сейчас вряд ли сильно обрадуется. Ей уже десять лет, и она отдалилась от отца... Бураковский как будто снова увидел упавшего лицом в угольную пыль Копылова, и шестилетняя Настя что-то сказала ему перед тем, как все огни светильников затуманились и погасли. Лиса барахталась в снегу и часто оглядывалась. Вскоре он стал различать ее продолговатые вертикальные зрачки. Что же сказала Настя?

Он остановился, дышал ртом. Рыжий зверек плыл среди искрящегося поля. Бураковский подумал, что лиса спасает свою жизнь. Он улыбнулся, зачерпнул и приложил снег к разгоряченному лбу.

НАШ НАЧАЛЬНИК ДАЛЕКО ПОЙДЕТ

Его не ждали. Начальник шахты хотел назначить своего человека, но из треста надавили, поставили другого.

Табунщиков был высокий человек, тридцати лет от роду; он смеялся заразительным смехом, как могут смеяться только храбрые или ограниченные люди; он нравился с первого взгляда.

Участок ремонтно-восстановительных работ принял нового начальника сразу, хотя крепильщики никогда не отличались покладистым характером. Табунщиков их взял той особой властью здоровых, крепких людей, которая сама по себе выделяла его среди инженеров остальных участков.

Ремонтно-восстановительный не выполнял план.

После планерок у начальника шахты Дергаусова, где гремела тяжелая критика, Табунщиков оставался перед крепильщиками спокойным и добродушным.

— Меня там Дергаусов немного покритиковал, — сказал он однажды. — Дал две недели сроку. Как думаете? Реально?

Дело для всех было ясное. Во многих выработках деревянные крепления или подгнили, или поддались горному давлению земной толщи, или их даже сломало. Чтобы за две недели восстановить выработки, срыть вспучившуюся почву и поднять осевшую кровлю, нужно было иметь под рукой два участка, а не один. Но Дергаусов, когда давал невыполнимое задание, по-видимому, на что-то надеялся. Начальник шахты был в пожилых летах. Его прозвали «волкодавом угольной промышленности»; на одном совещании он сказал с трибуны: «Таких, как я, скоро совсем не станет. Вырем. Но пока живы старые волкодавы, за план не беспокойтесь — выжмем там, где никто не выжмет».

Поэтому Табунщиков молчал: здесь всем обстановка была известна.

Он сидел, развалившись, за своим столом, и его бело-розовое, чуть налитое молодым жирком лицо так добродушно и безмятежно улыбалось, что крепильщик Галкин закричал:

— Не тяни резину!

— Значит, что я думаю? — сказал Табунщиков компанейским тоном, словно продолжал начатый разговор. — Нереально? Вот четырех недель нам хватит.

На Галкина прикрикнули, даже толкнули в плечо, правда, несильно и необидно. Он и замолчал, но затаил против Табунщикова свое особое чувство.

Галкин был сухой, почти тощий, с умными колючими глазами мужик. Он был смел в речах и в подземной работе; временами на него находила странная воинственность, а чего он желал в те минуты, никто не знал. У него была жена и взрослая дочь. Весной сажал под балконом цветы «золотые шары», или, по-иному, рудбеккии.

Кончался май, возле здания шахтоуправления цвели акации. Когда ветер относил в сторону серный дым тлеющей в терриконе породы, то можно было уловить в теплом воздухе сладковатый запах. В шахте тоже чувствовалось близкое лето: подземные воды спадали и меньше досаждали крепильщикам, проходчикам, забойщикам и другим людям.

Ремонтно-восстановительный поправлял свои дела. Табунщиков по схеме шахтных выработок видел, куда продвинулись его рабочие — схема лежала перед ним на столе, как карта у молодого генерала. Он был доволен собой: устоял против Дергаусова. Люди это поняли. Пока еще Табунщиков не сделал просчета, которого от него, по-видимому, ждал начальник шахты. Но Табунщиков чувствовал, что над ним как

бы нависает тень Дергаусова и безжалостные старческие глаза следят за ним...

Крепильщики угадывали все происходящее довольно верно, хотя не могли знать, что говорится на планерках Дергаусова. Они, кажется, просто сравнивали то, что было у них перед глазами, — внешности начальников. Как бы наивно ни выходило это сравнение, начальник шахты казался чуть ли не мизантропом, а начальник участка привлекал симпатии...

Но было несколько человек, невзлюбивших Табунщикова. Среди них выделялся Галкин. Он то подшутит, то хмыкнет, то с подковыркой переспросит Табунщикова во время наряда и, не слушая ответа, сидит с насмешливой игрой мускулов на лице.

— Как я думаю, Юрий Васильевич? — спрашивал Галкин. — На свете есть три худа. Первое худо — худой начальник, а второе худо — худая жена, а третье худо — худой разум. Я думаю, от худого начальника уйдешь, от жены тоже можно, а от худого разума не уйдешь — все с тобой.

Табунщиков, однако, до поры не очень замечал Галкина. Считал, что тот играет на участке роль шута. Да и часто на Галкина прикрикивали сами же крепильщики.

...Галкин работал в паре с Юрасовым. Однажды, выбив сломанную арку крепления, оба услышали ясный жуткий шорох — так шуршала, потрескивала и осыпалась струйками земля. Они отпрянули. Перед ними упало несколько тонн земной породы. Пыльный ветер запорошил Галкину глаза. Он моргал, отплевывался и слышал где-то рядом мат Юрасова.

— Живой! — сказал Галкин. — Радуйся.

Он заглянул в черный купол обрушения, осветил лампой. Юрасов длинной сильной рукой взял Галкина сзади за спецовку и оттянул от опасного места. Потом он снял каску, отряхнулся; лицо его было черным, а лоб белым. По закиданным землей рельсам Юрасов подогнал вагонетку.

— Давай, — сказал он. — Тут на день добра, а у нас конец смены на носу.

Юрасов был бригадиром; до этого дня он прожил двадцать четыре года и пока еще не задумывался, сколько времени у него впереди.

Галкин взял лопату. Его руки немного дрожали, точно он недавно поднимал тяжесть.

— Напугался? — спросил Юрасов.

— Радуюсь, — пробормотал Галкин.

— Ничего. Авось до конца успеем расчистить. — Бригадир, наверное, понял его слова как-то по-своему.

Они нагрузили две вагонетки. Их лица посветлели и были словно окроплены водой.

Юрасов пошел к телефону звонить Табунщикову, так как смена кончилась.

— Скажи, пусть отгул дает, а мы за сегодня управимся! — крикнул вслед Галкин.

В нарядной вместо Табунщикова был его заместитель Торопец, но с ним Юрасов разговаривать было неинтересно. Табунщиков спросил бы про настроение, посмеялся бы своим заразительным смехом, но отгул скорее всего не разрешил бы. Сверхурочные и отгулы почему-то не очень ему нравились.

Торопец не произнес ни одного лишнего слова, выслушал Юрасова и разрешил на завтра отгул.

Бригадир повесил на крюк тяжелую телефонную трубку. По основному штреку шла быстрая струя свежего воздуха, Юрасов спиной почувствовал холод своей влажной сорочки. Он оглянулся. Промежуточный штрек, освещенный редкими фонарями, просматривался до поворота. Работать расхотелось — то ли скучный Торопец отбил охоту, то ли наваливалась усталость. Юрасов побрел назад.

Галкин, кажется, не останавливался, земляная гора стала меньше.

— Передохни! — сказал Юрасов. — Я тоже не работаю, зачем тебе больше меня надрываться?

— Ничего. Ты молодой... Что там барин?

— А его нету. Торопец дает отгул, если сегодня кончим. — Юрасов взял лопату и тоже принялся за дело.

— А зачем тебе отгул? — спросил через минуту Галкин.

— Как зачем? — усмехнулся бригадир. — Чудное спрашиваешь! Тебе-то нужен?

— Вроде нет.

— Тогда зачем вкальваешь?

— Хочется ее срыть, — показал Галкин на горку. — Азарт нашел. Ну, сам понимаешь.

— Ага, — проговорил Юрасов.

...На-гора они выехали затемно, сдали в ламповую лампы и самоспасатели, вымылись в бане, переоделись и разошлись по домам. После черной темноты и неверного света подземелья медное солнце и голубовато-фиолетовое небо как будто что-то обещали, волновали душу, как всегда волнует поздний выезд на землю.

По дороге Галкин выпил стакан вина, и ему захотелось с кем-нибудь поговорить. Но в сутолоке магазинчика никому не было до него дела.

Отгул за Галкиным остался, он его не торопился брать. Юрасов же отдыхал на следующий день. А Галкин снова подшучивал над новым начальником.

На участке вскоре дела совсем поправились, а Табунщиков впервые услышал от Дергаусова:

— Что, молодой человек, небось все ждешь нагоняя? Сегодня не будет.

Такова была похвала «волкодава». Дергаусов улыбался, от уголков

его глаз к подбородку протянулись глубокие морщины. Морщины с самого начала казались застывшими, хотя возникли секунду назад. Табунщиков улыбнулся в ответ своей славной добродушной улыбкой, и все начальники участков и другие руководители, которые были на планерке, порадовались за него, — наконец-то в отношениях между ним и Дергаусовым начиналась какая-то другая пора.

— Я слышал, тебя крепильщики не больно жалуют, — вдруг с легким осуждением вымолвил начальник шахты. — Одной демократией ты только разбалуешь мужиков. Они руку должны чувствовать!

Должно быть, он ощутил общую симпатию к Табунщикову, и ему не хотелось, чтобы здесь подумали, будто Дергаусов слабеет и становится мягче. В последний миг сразу же за похвалой он пожелал показать, что ему в Табунщикове не нравится... Правда, секретов своих Дергаусов этим не открывал.

— Учту замечание, — ответил Табунщиков спокойно, хотя и был удивлен осведомленностью «волкодава». Злости на Галкина он не испытывал.

...Через неделю ушел в отпуск Торопец, один за другим отпрашивались на отдых крепильщики, и всех нельзя было удерживать. Лето уже было в полной силе. Акации на шахтном дворе посерели от пыли, привяли. Табунщиков глядел на деревья утром, когда шел на шахту, и вечером, когда возвращался домой, и замечал, как подгорают за день листья.

Галкин в эту пору присмирел, видно, и его утомила жара. Он вспомнил о своем отгуле, сказал Табунщикову, но тот отмахнулся:

— Сейчас некогда. Торопец дал, пусть он и отпускает.

— Я не у вас и не у Торопца работаю, — сказал Галкин дерзко.

— А у кого?

— У государства!

Табунщиков засмеялся. Этот маленький жилистый Галкин становился надоедливым.

— Не люблю демагогов, — сказал он строго и брезгливо. — Им даже объяснить по-человечески невозможно... Заладили: государство, демократия! Каждый гнет свое, как медведь дуги, лишь бы свой приоритет установить. Ты не перебивай! Приоритет — это себе урвать. Ты слушай!

Попробовавший возразить и остановленный на полуслове, Галкин с каждым словом Табунщикова глядел все веселее, больше не перебивал, и в его лице была заметна живая игра мускулов.

Крепильщики, которые были в нарядной, смотрели на Галкина с досадой, словно хотели сказать: «Сам нарвался, парень».

— Ну ничего, — ощущая их поддержку, добродушно вымолвил Табунщиков. — С кем не бывает... Ничего, Галкин.

— Так я, значит, завтра отгуляю? — спросил Галкин. — Вот Юрасов, он подтвердит.

— Завтра выйдешь в первую! — рассердившись, сказал Табунщиков. — Никакой Юрасов мне не нужен. И без фокусов!

— Да вот Юрасов, — повторил Галкин. — Володя, ну скажи...

Бригадир пожал плечами и произнес с заискивающей и одновременно пренебрежительной интонацией, как обычно бывает, когда разговаривают со вздорным человеком, от которого не знаешь, чего можно ждать:

— Ну чего сказать, Иваныч? Что у тебя есть отгул? Так это же Юрий Васильевич знает. Вот людей сейчас не хватает, не надо права качать...

— Тю, балаболка! — сказал Галкин. — Тебе только речи и проносить...

— Повторять не буду. Не выйдешь — пеняй на себя. — И Табунщиков закончил наряд.

Крепильщики шли к людскому стволу по асфальтовой дорожке, оглядываясь по сторонам, словно запоминали окружающее. От газона веяло запахом теплой мокрой травы. Впереди на дорожке скакал воробей, поглядывал на шахтеров быстрым оценивающим взглядом. Они курили, каждый шел сам по себе. Галкин говорил:

— Теперь у вас глаза раскроются! Я своего добыюсь, пусть накажет!

— Раз не дает — значит, нельзя, — возразил Юрасов. — Потом сам жалеть будешь, что довел человека...

— Слышали, как он кричал? Юрасов побоялся сказать, и вы молчали. — Галкин улыбался. Улыбка была торжественная, суровая и какая-то сумасшедшая. — Но так даже лучше...

За прогул его перевели на лесной склад; он терял половину заработка и подвергался унижению, потому что для порядочного человека работать рядом со штрафниками, которых сюда посылали за разные провинности, было нехорошо. Здесь пахло сосновым клеем, ветер надувал рубаху, солнце припекало руки и лицо; под открытым небом было вольнее, чем внизу. После перерыва штрафники ради развлечения ловили в железную сетку крысу, обливали керосином и поджигали. Она мучительно и мерзко кричала. Галкин терпел три дня, грузил в вагонетки бревна и распилы. Он просил своих случайных напарников не мучить тварей. Над ним смеялись. Тогда он взял багор и крикнул штрафникам, что будет их бить. Они снова начали смеяться:

— Из-за крысы будешь бить людей?

— Какие вы люди! — сказал Галкин.

Он не захотел больше оставаться в лесном складе, пришел к Табунщикову и объяснил, почему вернулся.

— Эх, чудак человек, — покачал головой Табунщиков. — Я создаю нормальный участок, поднимаю дисциплину, а что ты? Палки в колеса?

— Какие палки? — спросил Галкин. — Участок хороший. Просто новая метла по-новому метет. Зачем вам говорить, что до вас все тут было хорошо? Лучше сказать: было так себе. А «волкодав» сравнит.

— Ну-ну, — неопределенно произнес Табунщиков. — Любишь тень на плетень наводить.

В нарядную заглядывали крепильщики, смена уже закончилась. Одни прощались: «До свидания, Васильчич!» А другие, увидев Галкина, заходили и усаживались на стулья вдоль стены.

— Хлопцы, — сказал Табунщиков. — Галкин сомневается, что мы сейчас хорошо работаем. — Он снова почувствовал неловкость. И вспомнил, что Дергаусов любит разговаривать в такой же манере.

— А знаете, товарищи, за что Юрий Васильевич меня наказал? — высоким дребезжащим голосом крикнул Галкин. — За то, что я его понял! Мало не согласиться с Дергаусовым, надо и свое предложить. А своего у него отродясь не бывало. Какой он есть большой представительный мужчина перед вами, такой он целиком. Больше ничего в нем нету.

— Осудил начальника? — спросил у него Табунщиков. — Ладно, я тебя прощу, Галкин. Не знаю, что ты доказать хочешь...

— Да он всегда недовольный, — сказал Юрасов. — Зудит у него... Правда, отгул у него законный.

— Слыхали?! — воскликнул Галкин. — Зажимают человека за правду, теперь видите! Законный же отгул!

— Кто тебя зажимает? — Табунщиков говорил добродушно, больше не сбивался на казенный тон. — Первый день работаешь? Не знаешь, как отгул берут? Самовольничать не надо. Здесь шахта, а не колхоз. Производство повышенной опасности, черт тебя дерь. Здесь крепильщик — это как Антей, который на себе это самое держит... свод!

— Общие слова, — сказал Галкин.

Крепильщики переглянулись. Табунщиков наклонил голову, потому что, наверное, хотел скрыть, как наливается краснотой его лицо. Но как это можно было скрыть? Он скрыл только выражение глаз.

— Будешь на лесном, — произнес Табунщиков.

— Хватит угрозами да угрозами, — ответил Галкин. — По-человечески хочу говорить.

— Ну что ты снова в бутылку лезешь? — с сожалением спросил Юрасов.

— Потому что не боюсь! — Галкин улыбался как сумасшедший.

— Ступай! — махнул рукой Табунщиков.

Галкин оглянулся, но встретил одни осуждающие взгляды. Он повернулся к начальнику участка. Тот постукивал по столу толстой могучей рукой, его глаза как будто подернулись тусклой пленкой.

— Товарищи! — сказал Галкин. — Ты, Коля! Ты, Жора! Ты,

Петро!.. И ты, Юрасов! Скажите хоть слово! Что же вы молчите? Шахтеры безмолвствовали.

— Как? — спросил Галкин, не веря.— За что же я боролся?

— Боролся? — переспросил Табунщиков.— Ты боролся? — И он неожиданно засмеялся своим славным веселым смехом.

Казалось, его смех что-то промывает в нем же самом; глаза Табунщикова заблестели, точно он выходил из тени на свет. Крепильщики подхватили его смех. Он выбрался из-за стола, подошел к Галкину и тронул его за опущенное плечо.

— Что, братец, невесело, когда все над тобой смеются? А ты хотел надо мной покуражиться. Или выставить меня таким сатрапом... На лесной склад больше не ходи, я попрошу Дергаусова отменить приказ. Ты же не пьяница, не прогульщик, а борец? — Табунщиков повернулся к рабочим.— Нечего нам людьми разбрасываться, верно?

— Верно! — ответили ему. И лишь один Галкин криво улыбнулся.

На следующий день Табунщиков пошел к Дергаусову просить отмены наказания.

— Когда-нибудь сам станешь начальником шахты,— сказал ему Дергаусов.— Ты молодой и здоровый. Такие выдерживают ношу.— Он своей костистой белой рукой показал себе на сердце.— Твою записку я подпистую. Ладно. Прямо только вороны летают. Но я бы не отступил... Ежели ты идешь на попятный, то либо ты вначале был дурак, когда послал рабочего на лесной склад, либо сейчас дурак, когда прощаешь прогульщика и пустобреха. Что тебе по душе?

— Привыкаю к местным условиям,— пожал плечами Табунщиков. В его ответе звучали спокойствие и добродушие.

— Что же тебе по душе? — повторил Дергаусов.— Дурак получаешься в любом случае.

— Этот Галкин хоть не скрывает, что ждет моего промаха,— сказал Табунщиков.— А я его как раз не накажу...

— Психолог... — усмехнулся Дергаусов, но усмехнулся не сразу, а сначала подумал над смыслом услышанного и, наверное, понял его.— Ну что же, когда-нибудь побываешь в моей шкуре. У тебя все?

Сейчас он еще мог выругать, высмеять или даже прогнать Табунщикова, все это было бы в его духе, но он заканчивал разговор сухим корректным вопросом. Ни он, ни Табунщиков еще не понимали, что только теперь по-настоящему начинаются их отношения, повторяющие миллион подобных отношений, которые складываются между пожилыми и молодыми людьми.

Прошел один день, другой; потом прошла неделя, и началась новая, а Галкин работал на ремонтно-восстановительном, ничем не выделяясь. Случай с ним стал забываться.

Торопец пришел после отпуска в нарядную участку, порылся в карманах своих синих хлопчатобумажных брюк, вытащил книжку и напомнил, что у Галкина есть отгул.

— Обстановка позволяет,— согласился Табунщиков.— Как, Иванч, погуляешь?

— Нет,— гордо отказался Галкин.— Сейчас мне не надо.

Он как будто снова вспомнил старое, его лицо заиграло живой игрой мускулов. Он закурил, помолчал и, ничего не сказав, ушел с высоко поднятой головой. Думали, начнет все сначала. Но Галкин почему-то сдержался.

С той поры прошло уже немало времени; и всегда, когда ему напоминали то лето, он оживлялся и, странное дело, словно чувствовал себя героем. Какие-то страсти и силы бушевали в этом человеке...

УЖЕ НЕТ ПРЕЖНЕЙ ИГРЫ

Анищенко грустно поглядел на свой стол. Это был безобразный канцелярский стол с двумя тумбами и с зеленым сукном. Толстый лист оргстекла прикрывал сукно, на нем стояла лампа с зеленым абажуром и лежала конторская книга, размеченная синими линиями. Анищенко еще не отучился от таких. «Старая привычка,— подумал он.— И все привычки у тебя старые. Новых не приобрел».

На левой стороне книги были два графика: одна веточка поднималась круче, чем вторая, и, хотя расхождение было невелико, Анищенко знал, что это отдает неудачей.

Он покатал ладонью ручку по стеклу, усмехнулся самому себе и поставил под графиками два аккуратных вопросительных знака. Тоска поднималась в нем.

Откинулся на высокую спинку кресла и глянул в окно. Там синели сумерки, которые превращали оконное стекло в зеркало, задернутое портьерой. «Будто покойник в доме,— сказал себе Анищенко.— Но постой, дружище, пора разобраться. Найди причину — и выход найдется сам. Что же произошло? Это главное».

Его жена гуляет во дворе с соседками. Кроме него, в квартире никого. Сын давно женился и живет отдельно. По вечерам Анищенко остается в одиночестве.

Ему мешал Зосимов! И тут Анищенко попадал в ловушку.

Он потянулся к лампе и выключил свет. В доме напротив горели окна. На кухнях возились жены, у телевизоров сидели мужья, сыновья искали будущих жен. Все было как будто расписано. И лишь в крайнем окне при рассеянном свете торшера танцевала перед зеркальным шкафом девочка-подросток. Она раскачивала головой с распушенными волосами и перепрыгивала с ноги на ногу. Наверно, один из современных танцев, которые так не нравились Анищенко.

Он глядел на молчаливую пляску, простую и не предназначенную для чужих глаз, а девочка танцевала и танцевала, и каждое ее движение вызывало в нем чувство глухой горечи.

«Эх, Зосимов! — подумал Анищенко. — Ведь старость на носу!» Он взглянул последний раз на девочку-подростка с распущенными волосами, чтобы проститься с ней, потом включил свет и засел за свои графики рабочих характеристик двигателя угольного комбайна.

Но Зосимов все равно не выходил из головы!

...Это началось больше тридцати лет тому назад, в одном из шахтерских городов Донбасса. Жизнь Николая Антоновича Анищенко как бы слагалась из двух частей. Круглый сирота и детдомовец благодаря упорству и здоровью смог закончить рабфак, потом индустриальный институт; жил на стипендию, бедствовал, завтракал хлебом и пустым чаем, обедал за тридцать копеек двумя порциями супа или борща, а вечером корпел за книгами по горной науке, к которой не питал любви.

Он учился с остревением, точно заслоня этим неумело заплатанные брюки, брезентовые ботинки и голодное костлявое лицо. С девушками он не встречался, не курил и старался вообще избегать ненужных расходов. Слишком сильно хотел стать инженером, врываться и забыть о скудном детстве, об унижительной бедности.

А у Зосимова тогда было все. Он был знаменит и молод, о нем говорили в трамваях и в очередях, в аудиториях и на шахтах. И Анищенко зло хмурился, когда слышал это имя. Оно было невыносимым и каждый раз подчеркивало его, анищенковскую, убогость.

И тогда началось их странное соперничество. Анищенко светился от бледности и, сцепив зубы, рвался к диплому. Его не могла надолго отвлечь и влюбленность в студентку экономического факультета Веру Забавину. Сероглазая девушка ловила взгляды Анищенко и дружески улыбалась ему, а он краснел. Было стыдно и больно, но это судьба представляла ловушки на его пути, и ему нельзя было попадаться в них.

В шахтерском городе, где все были заняты трудным и рискованным делом — добычей угля, любили Зосимова. Люди уходили засветло под землю и поднимались на-гора обессиленные работой, и для полноты жизни нужен был какой-то выход, возможность другой, легкой и яркой жизни, которую они мечтали построить. Они видели эту возможность в Зосимове. Он бежал по зеленому полю земли, и над ним всегда было небо, а не сотни метров глухой враждебной породы. Он бежал по зеленому полю и гнал легкий мяч, и казалось, что его высокое поджарое тело в красной майке — это их натруженные широкие тела, жаждущие свободы движений и рожденные для радости. Люди переселяли себя в Зосимова, и в нем сбывались их хрупкие надежды. «Зося, беги!» — орала над полем тысячеголосая тоскующая душа людей, благодарная своему любимцу за самое его существование.

И этот рев не мог не задеть Анищенко.

Покажи им, Зосимов, отомсти за нас всех, беги, Зосимов, по зеленому полю земли!..

Анищенко тоже кричал что-то бегущему человеку, но потом он ни слова не мог вспомнить, и лишь опустошающее чувство высвобождения оставалось в нем, и он, смешиваясь с толпой, медленно брел домой, в общежитие, по мосту через вытянутый ставок, и мост гудел под ногами, и в темной вечерней воде отражалась тень терриконики, окрашенная по бокам малиновым закатом. Он завидовал Зосимову и переходил с курса на курс. Время шло, и все ближе становился тот момент, когда Зосимов должен был уйти из жизни Анищенко, уйти и освободить его от счастливого соперника, от этой унижительной близости счастливого и неудачника. И поэтому, когда Вера Забавина вышла замуж за Зосимова, он не очень горевал. Время ведь шло и несло с собой перемены..

Горный инженер Анищенко если и не забыл о тяготах, то во всяком случае расстался с ними. Тогда еще не знали понятия «молодой специалист» — его назначили главным механиком Рутченковского рудника. С тех пор и стал он Николаем Антоновичем. В качестве личного транспорта ему выдали пегую лошадь Дуче. Он работал как черт. Уже ничего не боялся, позволял себе обрывать на совещаниях управляющего рудником, не выполняя указаний треста и не всегда прислушиваться к звонкам из райкома.

Днем Анищенко проводил наряды, метался по подземным выработкам, и совсем неизвестно было, спит ли он по ночам. По ночам его почти всегда поднимал телефонный звонок, и главный механик скакал на своей Дуче на рудник.

Аварии его бесили. В них не было никакого смысла и порядка, одна тупая случайность. И, выезжая на-гора после тяжелой аварии, Анищенко с усмешкой вспоминал легкое движение Зосимова по зеленому полю.

Стахановское движение только-только начиналось, и райком предложил провести на рудниках и шахтах неделю ударного труда. Каждый день отмечался перевыполнением плана. Где на четверть, где на половину, а где и вдвое. И лишь на Рутченковском добыча слегка упала.

А дело было в том, что Анищенко имел свои соображения, и он проводил в это время очередной ремонт и ревизию забойного оборудования. Управляющего он убедил ежедневно спускаться под землю, а на звонки из треста отвечала секретарша. Они выезжали на поверхность поздно, так что были неуловимы.

Но в конце ударной недели на рудниках упала производительность: горели изношенные электродвигатели, выходили из строя компрессоры, лопались коммуникации сжатого воздуха, и электропроводы громоздились на рельсах. Тогда же Рутченковский вырвался

вперед и закончил соревнование совсем не последним, как раз в середине. Однако работа тут не кончилась: надо было и дальше качать уголек. А из всех лишь Рутченковский рапортовал о досрочном завершении годового плана.

За тот провал полетели многие головы в тресте, а Анищенко стал там главным механиком. Шел ему двадцать седьмой год. Он привык все делать серьезно, радовался за себя, за свои электродвигатели, насосы, компрессоры, работающие на совесть. Николай Антонович полюбил машины. И не щадил людей: в них не было совершенства.

Ему стало трудно без Зосимова. Он понял судьбу бегущего за мячом человека.

Анищенко глядел на Зосимова и видел совершенство. Он уже не завидовал ему и стал сдержаннее. Шахты будто высушили его, и он, прежде неразговорчивый, окончательно замкнулся.

Иногда он встречал на улице Веру вместе с Зосимовым и куда чаще, чем прежде, оставался спокойным. Вера улыбалась бывшему студенту в светло-коричневом шевиотовом костюме. Николай Антонович коротко кланялся и чуть насмешливо скользил взглядом по лицу Вериного мужа. И что-то приятное щекотало его: вот и поравнялись.

Одна из таких встреч навела его на мысль, что и самому пора подумать о женитьбе. Он вспомнил дочь рутченковского фельдшера Лиду. Как-то, проезжая на Дуче мимо неказистого фельдшерского домика, он видел ее. Лида крутила скрипучий ворот колодца и, подавшись вперед, заглядывала в отверстие сруб. Одна коса ее выскользнула из-за спины, а вторая, пухлая и длинная, медленно сдвигалась по сиреневым цветочкам ситцевого платья. Анищенко остановил лошадь и засмотрелся. Лида подхватила окованную бадейку, перелила воду в ведро и пошла к дому, плавно ведя свободной рукой. Анищенко задумался и отпустил поводья.

...Фельдшер был беден, а Лида была послушная дочь. Николай Антонович не ошибся в выборе: из нее вышла хорошая хозяйка.

Жаль, что Вера так и не увидела их вдвоем: Зосимова пригласили в Москву, и они уехали, и опустело зеленое поле. Теперь Анищенко мог лишь читать в газете о своем сопернике, но тогда было время особое, и народ тревожила будущая война, а не человек с мячом...

К сорок первому году и Николая Антоновича перевели в столицу, в наркомат. Лида, взяв маленького Сашу, уехала со своими родными в Старобельск, степной городок возле Ворошиловграда. Анищенко должен был вызвать их, как только дадут квартиру.

Стоял июнь, на бульварах доцветала сирень, набегали легкие облака, капал дождик, и потом светило в лужах солнце, и было хорошо в Москве. Анищенко ходил по городу — провинциалом. Знакомых завести не успел, а друзей и в Донбассе у него не водилось. В нагрудном кармане лежало удостоверение со

словами наверху: «Совнарком». Оно, кажется, поддерживало Николая Антоновича, и он говорил себе: «Ничего, Зося, поглядим еще, поглядим...»

Впрочем, он мог говорить себе что угодно. Он пока не чувствовал уверенности, и новая работа, вдали от угольных бассейнов, вдали от совершенных машин и несовершенных горняков, была непривычно спокойной. Анищенко окружали ветераны горной промышленности, а он был самым молодым, мальчик, которого никто еще не знал. Он нес с собой мечту о новом комбайне, разработки и графики и с радостью ухватился за предложение съездить в командировку в Донбасс.

О Зосимове он не вспоминал. Видимо, с ним было покончено и начиналась другая жизнь.

Но Зосимов все бежал по зеленому полю земли, тысячеголосый рев сопровождал его легкие движения, и трудящийся народ вставал с мест, махая руками, кепками и свернутыми газетами, которые говорили, что скоро кончается июнь...

Война захватила Анищенко в Сталино. Он связался с министерством — ему приказали оставаться на месте и выполнять задание. Может, так оно и лучше. Он знал донецкие шахты, а в Москве чувствовал бы себя куда как неуверенно.

Сначала об эвакуации никто не думал: крутились шкивы подъемников, спускались под землю люди и по грузовым стволам шел на-гора антрацит для «Азовстали», для заводов имени Ильича, имени Кирова, имени Сталина. Донбасс напрягся и работал. Только по ночам не светились звезды на копрах, и с воздуха степь темнела сплошным полотном.

Анищенко забыл о своем комбайне и вновь занялся старыми машинами. Механики стали ночевать в рудничных конторах, отбились от семей и уже не знали, какого цвета летнее небо. Они безвылазно сидели на шахтах, и перебоев в работе машин не было. Анищенко осунулся, как будто вернулся в голодные годы, и ожесточился.

Немцы подходили все ближе. Наступившая осень была мрачной. Дали закрывала пелена мороси. Люди потянулись к вокзалу. Подлое и бессильное слово «эвакуация» холодило душу.

Опустела гостиница, в которой жил Анищенко. Дождило. На комбинате организовали истребительный батальон, однако бойцы разъехались по шахтам, уничтожили оборудование. Шахты затапливались, взрывались подъемные машины, над городом орали прощальные гудки, и все стихало, стихало... Война для Анищенко началась с того момента, когда он умертвил первую шахту.

От Лиды пришло письмо: фельдшер повел своих на восток.

Немцы вошли в город тихо, без боев. Анищенко взял давно уложенный чемодан, надел брезентовый дождевик и покинул гостиницу.

По улице Артема ехали мотоциклисты. Анищенко побоялся выходить, переждал за стеклянной дверью. Его била дрожь.

Город опустел. Дома остались без хозяев. Со стороны вокзала доносились выстрелы. Не понимая, куда он идет, Николай Антонович подошел к дому, где жил с Лидой раньше.

Где была сейчас его семья? Люди стали одиноки и слабы.

Он поднялся на второй этаж, отпер своим ключом дверь и утешился тем, что есть крыша над головой.

Надо было жить. Сначала он выменял за костюм и туфли большой кусок сала, десяток луковиц и ковригу ржаного хлеба. Он сидел дома, листал инженерные справочники Хютте, хотел думать о своем комбайне — его работоспособность осталась за порогом лета сорок первого: Анищенко отупел.

А продукты кончились. На стенах домов были приказы комендатуры об обязательной регистрации жителей Юзовки на бирже труда. Сталино превратилось в Юзовку. На базаре было опасно появляться — облавы. Анищенко отнес туда четыре рубахи и больше там не показывался.

Он ходил по окраинам города, высокий, злой, на нем были брезентовик, сапоги и спецовочные штаны. Из-под кепки глядело небритое лицо бродяги. Он не ел второй день.

Возле шахты между двумя морщинистыми акациями стояла немецкая кухня. С шахтного двора доносился глухой металлический звук. «Восстанавливают, гады», — мелькнуло у Анищенко. И он, еще не понимая своего состояния, в каком-то ослеплении, подавившем привычную осмотрительность, быстро зашагал, почти побежал к шахте. Он затопил ее одной из первых, он работал здесь на практике — шахта принадлежала ему, как и все донецкие шахты.

На пути была кухня и немец повар. Анищенко так яростно взглянул на него, что толстый низкорослый немец попятился. Николай Антонович шел на немца, бормоча шахтерские матюки. Повар чиркнул задом о печку, ушел вправо и побежал к конторе. Анищенко усмехнулся. Он деловито огляделся, отыскал миску и наполнил ее супом из котла. Обжигая рот и не ощущая вкуса еды, он опустошил миску, добавил еще и тут почувствовал на спине чей-то взгляд. Анищенко не спеша повернулся: на него, улыбаясь, смотрел гитлеровский офицер. Однако Анищенко спокойно вернулся к неоконченному супу. Он ел, точно работал. «Ничего, — сказал он себе. — Это ничего».

Офицер был хрупкий, чернявый и очень аккуратный в своем черном мундире военно-инженерного ведомства.

— Вы шахтер? — спросил он, стоя в некотором отдалении. Страх или враждебности по отношению к себе Анищенко не почувствовал. Он пожал плечами, будто не понял. Тогда офицер повторил.

— Да, — сказал Анищенко, — бергман. Я когда-то работал на этой шахте.

Офицер задрал черные брови, оживился, а из-за его узкой спины с любопытством таращился на Николая Антоновича толстяк повар.

— Хольц,— сказал офицер.— Принеси две банки тушенки.

Повар ушел.

Анищенко напряженно вслушивался в чужую речь. Пока еще не было страшно.

— Итак, я имею вам сказать,— продолжал чернявый, я горный инженер и буду работать на ваших шахтах, чтобы русский Рур служил великой Германии. И мне нужны помощники. Надеюсь, вы инженер?

— Нет,— ответил Анищенко.— Я — слесарь.

— Покажи руки.

Офицер осмотрел его ладони, нашел два голубоватых угольных шрама и кивнул:

— Годишься. Идем!

Хольц принес тушенку, покрытые маслом банки.

— Идем! — жестко повторил офицер.— Быстрее!

— Чего орешь? — спросил Анищенко.— Идем так идем.

В механических мастерских, куда он попал, чинили насосы. Девять хмурых и недоверчивых мужиков, направленных биржей, приглядывались друг к другу, ища себе оправдание в спокойствии соседа. Но никто тут не имел спокойной души. Если один по неопытности защибал себе руку и вскрикивал, никто не поднимал головы, лишь суетились, выравнивали лопатки насосов, ремонтировали...

Анищенко был старшим: мужики не смыслили в горной механике. Он учил их.

Появился чернявый офицер и тоже слушал Анищенко. Мужики попрытали глаза, но Николай Антонович без страха объяснил:

— Я объясню, как скорее пустить нашу шахту.

— Работать! — бросил офицер и ушел недовольный.

Анищенко вяло махнул рукой:

— Хватит на сегодня.

Николай Антонович пришел в мастерские и на следующий день. Все равно надо где-то определяться. Плохо, что он был старшим. Лучше быть пониже, понезаметнее в это глухое время.

Неизвестно, как подействовали речи Анищенко, да только мужики, к радости чернявого, отремонтировали первый насос. Они снова не знали, куда деть глаза, когда немец вышагивал перед сосущим воздух насосом и приговаривал:

— Хорошо!

Шла война. По ночам в городе постреливали. Днем мужики шушукались и косились на Анищенко. Они боялись его.

Николай Антонович копался в движке со сгоревшими обмотками, когда один из слесарей, пожилой бровастый дядька с узкой щелью рта,

окликнул его. Предохранительная решетка насоса едва держалась: требовалась сварка. Узкогубый вопросительно поглядел на старшего.

— Ладно,— сказал Анищенко,— возьми другой.

Никто, кроме него, не умел работать с горелкой. «Попались же обормоты»,— думал он.

Пришлось варить Анищенко.

Он ничем не рисковал. В крайнем случае сошлется на неумение. Ладони в рукавицах вспотели. Анищенко впервые в жизни плохо делал свое дело.

Мужики постояли и отошли, вроде освоили науку. Предохранительная решетка держалась крепко, если смотреть на нее доверчивыми глазами.

Анищенко теперь боялся слесарей и думал, что делать дальше.

Мужики уже привыкли друг к другу и могли вспоминать мирную жизнь. И однажды кто-то из них сказал:

— Зосимов!..

— Где он теперь?

— А где быть ему? На фронте...

— Убьют Зосю.

Они говорили не громко, но и не очень тихо. Анищенко приблизился к ним и стал у верстака. Узкогубый слесарь сощурился и кивнул на сварочный аппарат:

— А коли выдадут?

— Ты? — спросил Николай Антонович.

— Нас ты не бойся. Что старшие скажут, то и будет.

— Я ничего не говорил,— сказал Анищенко.

— Так и не надо,— усмехнулся слесарь.— Мы пойдем и без слов, дело нехитрое. Я и сам скажу им, что треба делать — вы ж показали...

Девять пришлых мужиков и Анищенко с той поры знали, что их живыми бросят в ствол, узнай немец, отчего ломаются отремонтированные насосы и шахту снова затапливает. Но Николай Антонович был осторожен и придумывал новые поломки замедленного действия. Все-таки он был хорошим инженером.

Николай Антонович потом много думал о том времени, совесть его была спокойна. Он не доказывал своей безупречности, когда после Победы его обвинили в сотрудничестве с гитлеровцами. Он проработал два года механиком участка на восстановленном руднике, пока однажды его не вызвали в горком и не напомнили о мастерских, где выпускали неисправные насосы. И тогда он вспомнил бегущего по зеленому полю человека, который помог ему выжить в тяжелые дни.

Его жена с ребенком уцелели в городке Старобельске, но извелись, болея душой за него. Анищенко увидел в их родных глазах, что постарел и стал слабее.

Они вернулись в Москву, чтобы никогда больше не расставаться. Война для них наконец кончилась, началась новая пора, в которой у Николая Антоновича имелось еще достаточно человеческих сил и упорства. Он чувствовал себя обязанным придумать новый комбайн, чтобы забыть время разрушения...

Анищенко был уже доктором технических наук, когда ему позвонила Вера Забавина. Голос ее был совсем немолодой. Они немного поговорили о прошлом, обрадовались, что живы и здоровы после этих многих лет, и Вера попросила Николая Антоновича принять в НИИ ее мужа. «Да, да, конечно, — согласился он. — Пусть завтра и зайдет». Вера торопливо поблагодарила и заговорила о том, что надо бы встретиться, но Анищенко захотелось поскорее попрощаться, пообещав как-нибудь собраться в гости.

Этот неожиданный звонок приятно возбудил его. Он по-новому взглянул на обстановку кабинета с обширным полированным столом для совещаний, с тумбой селектора, со шкафами, где стояли книги Николая Антоновича и его коллег, а на отдельном месте красовалась гордость Анищенко — действующий макет экспериментального комбайна.

Нет, недаром жил на свете Николай Антонович. Завтрашний гость, знаменитый Зосимов, поймет это.

...Они встретились так, как и предполагал Анищенко. На пороге кабинета остановился высокий сухощавый человек. Николай Антонович вышел из-за стола и шагнул ему навстречу. Он не скрывал своего любопытства. Зосимов выглядел старше своих лет, но лицо его было лишено и капли жира, сухо, обтянуто загорелой кожей, морщинисто и красиво. На лацкане светло-серого пиджака спортивного покрова поблескивал затертый, потемневший значок мастера. Николай Антонович про себя улыбнулся: у него на лацкане тоже был знак, лауреатский. Но вообще-то, против ожиданий, Зосимов имел вид очень приличный, что-нибудь вроде второго тренера, работяги. Выражение его выцветших, некогда голубых глаз было спокойным.

— Здравствуйте, земляк, — сказал Николай Антонович. — Наконец-то я с вами познакомлюсь.

Они пожали друг другу руки, и Анищенко усадил гостя в кресло за низкий столик, а сам сел напротив.

— Курите? — спросил он.

— Спасибо, не курю.

— Да, да, — Анищенко опустил сигареты на столик. — Вы, значит, хотите работать в нашем институте, не так ли? Если не ошибаюсь, у вас нет диплома?

— Я закончил один с вами институт, — сказал Зосимов. — Перед войной.

— Как? — удивился Николай Антонович. — Вы же...

— Вечерний. Горная электромеханика.

— Так, так... Это меняет положение. Конечно, могу предложить не бог весть что для ваших лет — младшим научным сотрудником, как? Сто сорок, премия каждый квартал, частые командировки. Годика через два можете надеяться на старшего. Только, наверно, вы знаете —

после войны техническая революция начисто изменила шахты. Придется вам немного подучиться, но я вам помогу...

Анищенко приветливо улыбался. Он знал, что у Зосимова не ладилось с тренерской работой, однако теперь Николай Антонович поддержит его, стародавнюю потухшую звезду.

— Ну как?

— Согласен,— ответил Зосимов.

— Превосходно, превосходно, дорогой земляк! Главное, не отчаиваться. Человек всегда найдет себе дело.

Зосимов кивнул.

Николай Антонович хотел тут вспомнить молодые годы, свою далекую привязанность к сегодняшнему гостю, посетовать на судьбу, которая с запозданием сводит людей, но заглянула секретарша и сказала, что позвонили из приемной министра. Анищенко вздохнул и развел руками:

— Ну ничего. У нас еще будет время. Я вас поставлю на новый комбайн. Перспективнейшая машина!.. Давайте подпишу заявление. Оформляйтесь в отделе кадров, и завтра — прошу, в восемь тридцать начало.

Младших научных сотрудников было очень много, в основном они были молодые ребята, честолюбивые дети,— Зосимов держался несколько в стороне от всех, неразговорчивый, исполнительный, странный человек. Как-то Анищенко увидел его в институтской столовой, тот сидел за столиком и пил из бутылки кефир. Анищенко отвернулся, он почувствовал жалость к нему, имевшему когда-то очень многое, а теперь забытому.

«Это его трагедия,— подумал Николай Антонович.— Он выработал свой человеческий потенциал и живет в прошлом».

А между тем шло время, оба они работали, встречались, обменивались приветами женам и расходились, не касаясь друг друга. Но когда понадобилось поехать на испытания комбайна, Анищенко вспомнил Зосимова — нужен был надежный исполнитель. Он поручил ему снять рабочие характеристики двигателя, и тот выслушал задание, не удивился его кажущейся простоте и на следующий день улетел в Донецк.

И надо же было случиться такому, что привезенные им материалы никак не совпадали с расчетными! Анищенко сидел за своим домашним столом и злился. Николай Антонович тосковал от предчувствия неудачи.

Он снова встал и подошел к окну. Девочка-подросток с распущенными волосами уже не танцевала под неслышную музыку — смотреть стало не на что. Николай Антонович подумал: где же ошибка? Наверно, виноват Зосимов.

Эта мысль принесла ему спокойствие, и он даже удивился — почему она не пришла к нему раньше? Зосимов, конечно, Зосимов,

которому нет до комбайна никакого дела, если потерял интерес к жизни. Надо просто перепроверить результаты, а Зосимова наказать, уволить или объявить строгий выговор — дальше ясно будет.

Наутро Анищенко распорядился послать в Донецк молодого парня, а с Зосимовым решил поговорить после работы, без обид, дружески. Однако тот заявился сам, чем вызвал в Николае Антоновиче беспокойство: он не любил шума, шум мог получиться из-за этой перепроверки.

— Это вам,— сухо вато сказал Зосимов и протянул сложенную пополам бумагу.— Буду рад.

— Погодите, погодите,— ответил Анищенко.— Зачем заявление? Сначала надо выяснить.

— Николай Антонович,— улыбнулся Зосимов.— Здесь две кон-трамарки на сегодняшней матч ветеранов. Буду рад вас с Лидой видеть на трибунах. Мы — земляки.

— Да, да, спасибо. Я, может быть, приду. Не ручаюсь, конечно. Но если освобожусь — обязательно.

— Я понимаю...

— Да! Если вам надо раньше уйти — пожалуйста. Ведь вы у нас один на институт, своя знаменитость.

Зосимов ушел своей обычной легкой походкой.

...Отчего Анищенко пошел на матч, он и сам не знал, удивил-ся неразумному решению, от которых в его возрасте можно бы и от-выкнуть.

Людей было негусто. В основном пожилые, солидные, помнящие иное время. Анищенко уселся на очень удобное место, проверил по программе составы команд и стал ждать начала, просматривая книжку американского инженера Джона Холпина о бездефектной работе. Изредка он оглядывался, точно искал поддержку в интересе других людей. Он представил себя на поле: огрузневший, с белыми отечными ногами — смешно. Молодой голос у него за спиной пренебрежительно бросил:

— Старперы подрабатывают...

И Анищенко подумал: «Сосунок послевоенный, что он знает?!»

Он наклонился к соседу.

— Знаете Зосимова? — спросил он нарочно громко.— Я тоже из Донбасса, один с ним институт кончал. Он сейчас покажет!

— Да? — заинтересованно ответил сосед.

Но Анищенко отвернулся. «Зачем? Сопляк прав,— сказал он себе.— Никого не обманешь. Выйдут позориться. Звезды! Тьфу. И ты, старый дурак. Ведь он не справился с заданием...»

...А Зосимов стоял неподалеку от центра поля. Мяч был далеко.

Тысячи людей смотрели на Зосимова и ждали... Они помнили: он бежал, и над ним было небо славного времени, и он гнал легкий мяч, и казалось, что его высокое поджарое тело в красной майке — это молодость их яркой, еще не прожитой жизни.

Зосимов сделал шаг. Другой. Быстрее, быстрее... Вперед по зеленому полю земли... Казалось, уходит и не вернется.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

След	3
Спасение	26
Наш начальник далеко пойдет	29
Уже нет прежней игры	37

Святослав Юрьевич РЫБАС

СПАСЕНИЕ

Редактор Ю. С. Новиков

Технический редактор О. Н. Ласточкина

Сдано в набор 16.12.85. Подписано к печати 19.02.86. А 00634. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000 экз. Изд. № 590. Заказ № 2108. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА

Ваше домашнее имущество может быть застраховано на любую сумму в пределах его действительной стоимости.

Страхование обеспечивает возмещение ущерба при повреждении или гибели имущества в результате пожара, наводнения, бури, ливня и других стихийных бедствий, аварий отопительной и водопроводной сетей, а также при его похищении. Выплата страхового возмещения производится в размере причиненного ущерба, но не выше суммы, предусмотренной в договоре страхования.

Договор страхования можно заключить на срок от одного года до пяти лет включительно или на срок от 2 до 11 месяцев. Плата за страхование невелика и вносится в момент заключения договора. Платеж можно внести также путем безналичного расчета через бухгалтерию по месту работы.

При оформлении договора страхования на 3 года и более предоставляется скидка с исчисленной суммы в размере 10%.

● Уважаемые товарищи!

Для оформления договора страхования домашнего имущества обращайтесь, пожалуйста, к обслуживающему Вас по месту работы страховому агенту или в инспекцию Госстраха.

Госстрах РСФСР